



всепутная история в романах



Иван НАЖИВИН

СОФИСТЫ



Всемирная история в романах

Иван Наживин

Софисты

«ВЕЧЕ»

Наживин И. Ф.

Софисты / И. Ф. Наживин — «ВЕЧЕ», — (Всемирная история в романах)

ISBN 978-5-4484-7791-1

В V веке до нашей эры древние Афины переживали эпоху расцвета. Это времена мудрого философа Сократа, знаменитого скульптора Фидиаса, блестящего государственного деятеля Периклеса и удачливого полководца Алкивиада, больше известного не военными победами, а кутежами и скандалами. Но за расцветом неизбежно наступает упадок. Мудрость, несмотря на все усилия, уступает место софистике, игре слов. Искусство ломает крылья, сталкиваясь с прозой жизни. Блестящий образ политика очерняется обвинениями в злоупотреблениях. Да и военная удача проявляет непостоянство...

ISBN 978-5-4484-7791-1

© Наживин И. Ф.

© ВЕЧЕ

Содержание

Об авторе	6
I. Вечер у «Олимпийца»	8
II. Афинская ночь	15
III. Пигмалион	19
IV. Накануне	22
V. Большая игра	28
VI. На Агоре	33
VII. «Великие бедствия»	39
VIII. У ног Дрозис	43
IX. Под надвигающейся грозой	47
X. Фиал бедствий	51
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Иван Федорович Наживин Софисты



Иван Федорович Наживин
(1874—1940)

Об авторе

Популярный в начале прошлого века русский писатель и публицист Иван Федорович Наживин родился в Москве 25 августа (6 сентября н. ст.) 1874 г. в семье разбогатевшего крестьянина-лесопромышленника. В печати его очерки и короткие рассказы начали появляться в начале 1890-х гг. Они реалистично отображали положение низов тогдашнего русского общества. Тематически их можно в какой-то мере сравнить с произведениями раннего М. Горького. Первый сборник рассказов «Родные картинки» И. Наживин опубликовал в 1900 г. Характерные названия носили следующие книги: «Убогая Русь» (1901), «Дешевые люди» (1903). Молодой писатель много странствовал, и это находило отражение в его творчестве. Одна из его ранних книг «Среди могил» имела подзаголовок «Путевые наброски». Показательны в этом отношении и названия многих рассказов: «В степи», «Каменная баба», «В курьерском поезде» и т. п. Самые удачные рассказы Наживина выходили отдельными брошюрами в дешевых изданиях для массового чтения: «Бабушка», «Братья», «Благодетели (Авгуры)», «Великая истина» и пр. В начале XX века писатель находился под сильным влиянием религиозно-философского учения Льва Толстого, причем наиболее консервативных его идей, о чем будет свидетельствовать книга «Моя исповедь» (1912). О великом писателе и мыслителе Наживин напишет несколько работ, самой первой из которых станет книга воспоминаний «Из жизни Л.Н. Толстого» (1911). В следующем году воспоминания будут переизданы; в конце 1920-х гг. в Стокгольме на шведском языке выйдут биографические исследования Наживина о Льве Толстом («Cor ardens»), их сразу же переведут на финский, а завершит наживинскую толстовиану «Неопалимая купина. Душа Толстого» (1936).

Первую русскую революцию писатель, прочно утвердившийся на монархических позициях, встретил враждебно. О его настроениях того времени, о его отношении к российским событиям (и к их оценке в Европе) свидетельствует роман «Менэ... Тэкел... Фарес» (1907). Писатель на время погружается в религиозно-философские искания. В частности, он интересуется народными религиозными движениями: персидскими бабидами, индийскими сектантами, духоборами (сборник «Голоса народов», 1908). Впрочем, скоро это проходит, и для творчества предвоенных лет характерно философское умиротворение: «Вечерние облака. Книга тихого раздумья» (1916), «Белые голуби принцессы Риты» (1913). Революция 1917 года стала для И. Наживина, как и для многих других русских интеллигентов, рубежом. Он встал на сторону белых, активно участвуя в пропагандистской войне. И. Наживин пишет «письмо» к солдатам, разъясняя им, кто такой был генерал М.В. Алексеев. В Одессе он публикует очерк «Что же нам делать?» (1919), в Ростове – агитационную брошюру «Война деревни с городом. Два письма к рабочим и крестьянам» (1920). В конце 1920 г. Наживин покидает Россию вместе с врангелевской армией. Эмиграция начинается с описания нелегкой судьбы людей, навсегда расставшихся с родиной: «Среди потухших маяков. Из записок беженца» (1922), «Фатум. Беженский роман» (1926), «Прорва. Беженский роман» (1928). Одновременно писатель спешит зафиксировать свои личные переживания времен революции и Гражданской войны, а также предшествующих лет: «Записки о революции» (1921), «Перед катастрофой. Рассказы» (1922), «Накануне. Из моих записок» (1923). Символично название немецкого перевода одной из наживинских книг с революционной тематикой: «Красный смех» («Das rote Lachen»). Безусловное первенство здесь надо отдать трехтомному роману «Распутин» (1923), в котором автор возлагает вину за создание революционной ситуации в России, а также за саму революцию на бездарного правителя Николая II и его придворную камарилью. Та же мысль положена в основу более позднего романа – «Собачья республика» (1935).

Со второй половины 1920-х гг. Наживин переходит к созданию исторических романов. Пишет он много, ориентируется главным образом на русского читателя-эмигранта, сюжеты

берет из разных эпох: «Евангелие от Фомы», «Иудей», «Остров блаженных: Евангелист», «Софисты. Роман-хроника из жизни Греции V в. до Р. Х.», «Лилии Антиноя», «Степан Разин» («Казаки»), «Бес, творящий мечту. Роман из времен Батыя», «Мужики», «Поцелуй королевы» и т. д. Наживина охотно издают эмигрантские издательства Вены, Берлина, Парижа, Тяньцзиня, Нови-Сада. Объем собрания его сочинений превышает сорок томов. А на родине в то время писатель прочно забыт. Только в конце XX века его книги снова появляются на прилавках наших магазинов: «Распутин» (1995), «Казаки» (1997), «Во дни Пушкина» (1999). Между тем творчество Ивана Федоровича Наживина достойно если не любви и почитания, то хотя бы куда более подробного знакомства. Умер писатель вдали от родимой земли: в Брюсселе 5 апреля 1940 года.

Анатолий Москвин

Избранная библиография И.Ф. Наживина

- «Распутин» (1923)
- «Степан Разин» («Казаки») (1928)
- «Глаголют стяги» (1929)
- «Во дни Пушкина» (1930—1932)
- «Иудей» (1933)
- «Евангелие от Фомы» (1933)
- «Расцветший в ночи лотос. Роман из времен Моисея», (1935)
- «Милые тени: лебединая песнь о женщине и любви» (1938)

I. Вечер у «Олимпийца»

Была ранняя весна, веселый праздник Диониса. Все население Афин, наслаждаясь солнцем, шумело на улицах с утра. Всюду слышалась музыка, пение, аромат благовоний. Толпы зевак стояли там перед мечеглотателями, там перед фокусниками, пускавшими изо рта и ноздрей огонь. Молоденькие фессалийки плясали свой знаменитый танец среди обнаженных мечей. Фиванские свистуны поражали всех своим замечательным искусством. А с наступлением темноты начались карнавальные шествия с факелами, в масках и венках. Гиганты-кентавры, вакханки заполняли ярко освещенные улицы. В эти дни веселый бог звался «Освободителем»: даже узники выпускались из темниц, чтобы принять участие в общей радости, даже мертвецы получали вино...

У Периклеса с Аспазией собрались отдохнуть от шума праздника несколько друзей. Периклес стоял в это время на вершине славы – недаром носил он имя, которое в переводе значило: «тот, слава которого распространяется далеко». Он к этому времени стал каким-то странным автократом демократии, перед которым склонялось все. И это досталось ему не даром, не чужими руками заработал он себе это богатство и почет. Если было нужно показать каким-нибудь соседям мощь афинской республики, Периклес сам водил блестящий флот ее к далеким берегам, – часто даже в Понт, – а когда несколько лет тому назад вспыхнуло восстание на о. Самосе, Периклес сам руководил операциями против непокорного острова и голодом принудил Самос к сдаче. Стены города были срыты, а его олигархи ушли в изгнание. Персы не посмели вступить, и затаилась Спарта: Афины властвовали над морями. И не было похвал, которых пожалели бы для него тогда афиняне: в то время как Агамемнону понадобилось десять лет, чтобы привести к покорности варварский город, – говорили они, – Периклес в девять месяцев заставил покориться гордый и сильный город Ионии!..

Уже начинавшая увядать Аспазия, красота которой раньше гремела на всю Элладу, и теперь была очень окружена: осенняя прелесть ее привлекала сердца каким-то нежным, грустным налетом, и она в полном блеске сохранила свой острый и блестящий ум образованной ионянки.

– Нет, нет, я не люблю расставлять артистов по местам... – говорила она. – Зевксис в своих картинах любит контрасты, любит удивить, его стиль полнее, а фигуры так и дышат жизнью, но зато Ларрасиос – как он легок, весел, тонок!

Ей с улыбкой хотел что-то возразить знаменитый Иктинос, строитель не только огромного здания мистерий в Элевзисе, но и Парфенона, как вдруг раздался звучный, полный, ласковый голос Периклеса:

– А-а, Сократ... Наконец-то!..

В окруженный колоннадой перистиль вступил с доброй улыбкой на курносом, пучеглазом лице Силена¹ Сократ. На нем был много раз чиненый, но чистый хитон и не первой молодости гиматий, на лысеющей голове – ему было под сорок – по обыкновению ничего не было, и босы были ноги. За ним стоял, неохотно улыбаясь, один из его учеников, Антисфен, высокий, хмурый, волосатый. Он большую часть времени проводил со своими учениками в Киносарге, одной из афинских гимназий. В Афинах было тогда четыре знаменитых гимназии; древние Дикайон и Киносарг, Академия, основанная Гиппархом, и позднейшая Стадион. Киносарг находился недалеко от Диотейских ворот, на одном из холмов, как бы оторвавшихся от могучего Ликабета, рядом с храмом Геркулеса, в тиши. И Сократу стоило больших трудов вытащить его на люди: «Всего в меру, – сказал он Антисфену, – даже философии...»

¹ Фригийский бог, воспитавший Диониса, из которого греческая мифология сделала как бы потешника Олимпа.

Периклес, высокий, стройный, свежий, несмотря на свои почти шестьдесят, с обычной своей величавостью – за которую его и прозвали Олимпийцем – и лаской приветствовал философ и бровью указал рабам, что для гостей не хватает ложа. Общество, благодаря ясному и теплому вечеру, собралось в перистиле, на свежем воздухе. Посреди этого внутреннего двора стоял обычный жертвенник Зевсу Геркейскому. Вокруг, за колоннами шли спальни, кладовые, комнаты для гостей, буфет. За перистилем, вглубь, помещалась мужская зала с очагом и жертвенником Гестии, богине домашнего очага. Тут держалась днем вся семья. А дальше, не доступный для посторонних, прятался гинекей, женская половина: спальня супругов, комнаты дочерей, рабочая для невольниц. А еще дальше красивый у Периклеса сад. На отдельном резном столе стояла кратера, в которой мешали вино с водой, и киаф, ковш на длинной ручке. На маленьких столиках около возлежавших гостей виднелись фиалы, без ножки, которые служили для возлияний богам и для питья, и всякие сласти: ужин только что кончился.

Аспазия сияла навстречу Сократу своей и теперь колдовской улыбкой.

– Нет, нет, поближе ко мне... – сказала она. – Я давно уж тебя не видала, ветреник!..

Сидевший около нее Фидиас, знаменитый скульптор, с улыбкой уступил свое место бедняку Сократу. Афины вообще были очень демократичны, в хорошем смысле этого слова, а в доме Периклеса с разными светскими предрассудками и совсем не считались: и Сократ, и Антисфен были почти нищими, а Антисфен, кроме того, как всем было известно, был и незаконнорожденный – от матери-фракийки.

И даровитому Фидиасу, и тяжелому Протагору, известному философу, который дружелюбно приветствовал своих коллег, очень доставалось от афинского демоса, но никого так не язвили в Афинах, как Сократа – и на улицах, и на агоре, и даже на сцене. Комический поэт Эвполис прозвал его «болтливым оборванцем». Его со смехом обвиняли в том, что на одном пиру он украл ложку, что он думает решительно обо всем, кроме как о том, чтобы купить себе новый плащ, что он учит молодежь наглости, обманам, мошенничеству, что он из гордости не принял приглашения македонского царя Архелая побывать у него вместе с другими писателями Аттики. Едко издевался потом над ним над всем смеющийся Аристофан, говоря на сцене: «Если бы он ограничивался вычислением, сколько раз перепрыгнет блоха из густой бороды его приятеля Херефона на его лысину, это было бы еще ничего, но он доказывает молодежи, что она имеет право бить и мордовать своих глупых отцов, он отрицает богов...» Но к такой демократической свободе слова афиняне давно привыкли, и чем крупнее был человек, тем громче лаяла на него агора... Во время осады Самоса был издан закон, воспрещавший всякие нападения на живых людей в театре, со сцены, но он продержался очень недолго: слишком уж сладко было облять ближнего своего, и тем слаще, чем он был крупнее... Наивные люди того времени и не подозревали, что самое страшное оружие в борьбе с опасным соперником – это молчание.

Сократ оживленно беседовал с Аспазией – он любил общество красивых женщин – и с удовольствием оглядывал всех. Общество разбилось на мелкие кучки и в тихом, теплом сумраке стоял оживленный говор. Откуда-то нежно пахло фиалками. Из-за далекой Евбеи поднималась огромная, бледно-золотая с червлением луна, похожая на золотой щит героя, и летучие мыши с нежным писком летали над головами. Вдали, на скале, неясно проступал весь серебряный теперь, в сиянии луны, Акрополь, где на месте развалин, оставленных персами, Парфенон был уже совсем закончен и строились под руководством Мнезикла – он оживленно беседовал с толстым Протагором – Пропилеи. Громадная статуя Афины Промехос – что значит сражающаяся в первых рядах – Фидиаса со своим копьём стерегла свой город и жертвенные думы подымались сияющими днями в тихое несравненное небо Аттики. Все было не только близким, но родным и смягчало душу нежностью красок и красотой линий.

Хорошенькая рабыня омыла ноги Сократа, и он улыбкой поблагодарил красавицу, но Антисфен не допустил ее до этого и произвел омывание сам под снисходительными улыб-

ками других. Периклес налил новоприбывшим гостям темного, душистого хиосского, которое тогда ценилось в 50 раз дороже общедоступного фракийского – за хиосское платили до 8 рублей золотом з а в е д р о, а за фракийское 15 копеек, – и ласково обратился к Лизиклу, очень богатому скотоводу, давнему тайному поклоннику Аспазии. Лизикл и сам был грузностью своей и силой похож на фессалийского быка и от него всегда, несмотря на дорогие духи, пахло вином и потом, что насмешники-афиняне называли на своем бойком языке: «Он трясет анагиру» – так назывался один из дэмов Аттики и в то же время одна очень дурно пахнущая трава. Лизикл с удовольствием подставил свой фиал. И, сделав молчаливое возлияние богам, Сократ с особым удовольствием выпил свою чашу, поставил ее на засыпанный свежими цветами стол и снова ласково оглядел всех.

– Ну, какие же новости, любезный Периклес? – сказал он. – По Афинам ходит столько слухов, что просто голова кругом идет. Как ни приучаешь себя не поддаваться этой болтовне, а нет-нет да и поймают на удочку...

По красивому, обрамленному уже заметно поседевшей бородой лицу Периклеса прошла тень. Он задумался. Он не любил говорить на ветер. И, подняв свою красивую голову – скульпторы говорили, что он как бы носит на ней целый акрополь, – он сказал:

– Самая важная новость, друзья мои, это наш закон, которым мы закрываем для мегарцев все наши рынки и порты. Конечно, это очень подольет масла в огонь раздоров, но отступить перед Мегарой Афины не могут. А затем через наших людей из Спарты пришло известие, что союзники ее, члены Пелопоннесской Лиги, съезжаются туда для какого-то важного совещания... Скрывать нечего, друзья мои: в воздухе опять запахло войной, и войной серьезной: если у нас несравненно больше золота – главное оружие в войне – и хорош флот, то у пелопоннесского союза большое преимущество в сухопутных силах...

И разговор завершился вокруг этих действительно важных событий, значения которых, как всегда, не угадывал никто, даже сам Периклес, который как будто был первым их зачинателем. Знатного рода – это демократией весьма ценилось тогда, как и потом, – богатый, он мог бы жить широкой и красивой жизнью вне всякой зависимости от Пникса и агоры, но он был заражен той опасной душевной болезнью, которая самим больным и всем окружающим причиняет всегда чрезвычайно много хлопот: государственной мудростью. Эти так называемые государственные умы почему-то воображают себе, что они лучше других знают, как устроить дела своего народа или даже человечества, которое их об этом нисколько не просит. Они забывают историю, они не видят того, что очень иного таких заботников до них прошло по бедной земле, но что от всех их забот и трудов человечеству лучше никак не стало, и то, что они с таким великим шумом и трудами воздвигают, это только те крепостцы из песка, которые строятся детьми на морском берегу и которые смывает первая же набежавшая волна...

Под стать ему была и его подруга Аспазия. Первым браком Периклес был женат на дочери богатого Гиппоникоса, но он развелся с нелюбимой женой и выдал ее, с ее согласия – это было тогда в обычае, – замуж за другого, а сам сошелся с прекрасной ионянкой. Жениться на ней он не мог, потому что сам же за несколько лет до этого он провел закон, что афинский гражданин не может жениться на иностранке – иностранцами в Греции считались тогда жители соседнего греческого города, до которого было полчаса ходьбы, – и что дети от таких браков считаться полноправными афинскими гражданами не могут, так что даже его собственный сын от Аспазии, маленький Периклес, был теперь каким-то обсевком в поле, и это заботило отца, тем более что два его старших сына, от первой жены, Ксантипос и Паралос, недалекие парни, были полноправными афинскими гражданами.

Аспазию в Афинах не любили – за ее богатство, за знатность, за то, что она, чужестранка, заняла в Афинах такое видное место, за ее незаконную связь с Олимпийцем. Как и Сократу, ей давали всякие обидные клички, ее обвиняли, что недавняя война с Самосом была вызвана

главным образом ею, потихоньку шептали, что раньше, до Периклеса, она была гетерой², что она негласно содержит дом терпимости, что она сама сводит Периклеса с нравящимися ему афинскими дамами и пр. Комик Эвполис, очень ценивший Периклеса, пускал по адресу иноземки в своих комедиях острые шпильки. В конце концов ее обвинили в том, что она вольнодумка, полна нечестия и на суде защитником ее должен был выступать сам Периклес, которого это дрянное обвинение так больно ударило в сердце, – ей грозила смерть – что он перед присяжными не мог даже удержать слез. Аспасию оправдали, но в душах обоих осталась горечь. Тем не менее овладевшая ими обоими с давних пор болезнь – заботы о всеобщем благе – не покидала их, и они отдавали этим заботам все свои силы, подогреваемые, конечно, надеждой, что в конце концов все признают их заслуги и вознесут их как подобает. Когда Периклес выступил перед народом со своим предложением о возведении на скале Акрополя, среди развалин, храма Афине Партенос – Девственнице, – народное собрание испуганно зашумело: такие траты! Фукидит, сын Мелезиаса, напал на Периклеса: деньги собраны с союзников для защиты их от персов, а совсем не для того, чтобы покрывать Афины, как гетеру драгоценностями, тысячеталантными храмами. Периклес гордо заявил, что тогда все расходы он берет на себя лично, но с тем, чтобы на всех им возведенных зданиях было выставлено его имя. Демократы устыдились и с необыкновенным воодушевлением голосовали необходимые средства. Периклес достаточно, казалось, знал цену толпе, но по странной нелогичности своей честолюбивой души гонялся за рукоплесканиями ее как за высшей наградой жизни...

– А как идут дела под Потидеей? – спросил Сократ.

– Ничего... – отвечал Периклес. – Осада дело нелегкое, но рук опускать нельзя. Но ты сам оттуда недавно – как твое мнение о положении дела там?..

Сократ, в самом деле, участвовал в боях под Потидеей в качестве гоплита, спас там, прикрыв щитом, жизнь молодого Алкивиада, родственника Периклеса, и получил даже награду за храбрость, которую он, однако, просил отдать Алкивиаду, полагая, что это поощрит молодца-эфеба к дальнейшим подвигам.

– Я затрудняюсь ответить на твой вопрос, Периклес, – потягивая хиосское, задумчиво отвечал Сократ. – Если бы дело касалось только Потидеи, и тогда в роли оракула выступать было бы нелегко, но мы все понимаем, что пожар завтра может охватить всю Грецию...

На Халкидонском полуострове была зависевшая от Афин коринфская колония Потидея. Поддаваясь внушениям македонского царя Пердикки, известного своим лукавством, Потидея решила освободиться от власти Афин, но сильный афинский флот явился к берегам Македонии, наказал Пердикку разрушением двух его городов, а затем вдруг появился перед Потидеей. Коринфяне, жившие всегда с Афинами не в ладах, прислали Потидею на помощь свое войско, но афиняне загнали его в город и осадили его. Коринф уже послал в Спарту послов: спартанцы должны встать на защиту своих союзников.

– А как рана Алкивиада? – спросил Сократ.

– Поправляется... – любуясь красотой своей полной руки, которая в свете луны казалась серебряной, сказала Аспазия. – Сейчас дурачится где-нибудь на празднике...

Сократу не в первый уже раз показалось, что серьезно по-настоящему красивая женщина занята только собой, а все эти ее философские разговоры, длинные беседы о театре, об искусстве вообще – только украшение для нее, как эти золотые обручи, которые едва, казалось, сдерживали золотой потоп ее дивных волос. Но ему почему-то не хотелось останавливаться на этих думах – может быть, потому, что раньше и он был уязвлен этой победной красотой, но вовремя понял, что он – только Сократ.

– Да, Алкивиад остроумен и... дерзок... – усмехнулся Периклес. – Я помню, раз спросил он меня, что такое закон. Я отвечал, что закон – это то, что постановляет большинство

² Гетера в точном переводе значит «благосклонная». Таких благосклонных было тогда много и в Афинах, и по всей Элладе.

на Пниксе, определяя, что можно делать и чего нельзя. Он ставит вопрос: а если это определяют олигархи? Я говорю, что то, что государственная власть утверждает, такая она ни была бы, то закон. А если, говорит, власть эта – тиран? Я говорю, что и тогда его постановления – закон. И он вдруг в упор: но что же тогда насилие и беззаконие? И в конце концов – твои уроки диалектики он, видимо, использовал хорошо, любезный Сократ, – он выводит заключение: а если толпа народа, негласно руководимая богачами, насильно заставляет подчиняться своим постановлениям, разве это не насилие, а закон? Он так запутал меня, что я смутился и сказал: в твоём возрасте и мы все были сильны в таких спорах. И вдруг мальчишка со смехом бросает мне в лицо: «Как жаль, о Периклес, что я не знал тебя, когда ты был сильнее в таких вопросах!..» А? Что ты на это скажешь?..

Сократ добродушно рассмеялся: он любил вострого Алкивиада.

– А ты что так задумчив сегодня, милый Фидиас? – обратилась Аспазия к знаменитому скульптору, глаза которого все больше наливались чем-то темным. – Или тебя тревожат нападки твоих врагов? Оставь их: Фидиас – это всегда Фидиас. У тебя в Акрополе стоят три таких защитницы, с которыми нашим беспокойным афинянам справиться будет очень трудно...³ А Парфенон?..

– Конечно, радости во всей этой грязи мало, но что же тут поделаешь? – сказал Фидиас, и его смуглое, худощавое и красивое лицо с вьющейся черной бородкой затуманилось еще больше. – Фукидит прав: наши афиняне так уж устроены, что они не могут дать покоя ни себе, ни людям...

И он подавил тяжелый вздох. Но он скрыл от Аспазии настоящую причину своего подавленного состояния. Рок захотел, чтобы он полюбил Дрозис, прекрасную гетеру, которая как будто отвечала ему настоящей любовью, но как гетера имела нравы весьма свободные и менять их, по-видимому, не хотела. Она была очень остроумна и над всеми этими добрыми принципами старины смеялась всеми жемчугами своих прелестных зубов. Про нее тихонько говорили, что она будто состояла на тайной службе персидского правительства и извещала его о всех словах и жестах шумных афинян. Теперь Фидиас в свободное от Акрополя время валял у себя дома большую статую Афродиты, моделью для которой он взял Дрозис – такую, какую он хотел бы видеть ее. Аспазия, догадываясь об истинной причине расстройства знаменитого скульптора, все же сделала вид, что поверила ему, и, снова любуясь своей красивой рукой, заботливо поправила на ней изящное золотое запястье: ей было завидно, что для нее эти сказки были уже кончены. Взгляды толстого Лизикла утешить ее не могли... И с тихим вздохом она перевела свой взгляд на красные изящные полусапожки, которые были зашнурованы так хорошо, что нога казалось голой, но тотчас же решила, что больше она их не наденет: в этой фиванской моде было что-то, что не нравилось ей – простые сандалии куда изящнее.

В перистиль вышел ученик Антисфена, Дорион, небольшого роста, худенький, с добрыми, вдумчивыми глазами, одетый, как и его учитель, с большой простотой. Недавно Сократ с обычной своей прямоотой сказал Антисфену, что из каждой дыры его плаща смотрит тщеславие, но угрюмый Антисфен не переменил своего обычая и даже стал носить с собой всегда суму, в которой было все его достояние. О Дорионе этого сказать было никак уж нельзя – да и по отношению к Антисфену тут было меньше правды, чем минутного раздражения. Сократ с напряженным вниманием, как всегда, вглядывался в эту замкнутую душу, которая шла каким-то своим путем и неустанно вела подкапывающую работу, в результате которой было разрушение и – простор. И он в Сократа вглядывался очень пристально, точно видя в нем что-то, чего не видят не только другие, но и сам Сократ. Сократ и все его ученики с изумляющей твердостью верили в силу разума – как Периклес в свою государственную мудрость –

³ Кроме Афины Промакос и Афины Партенос, которые стояли на Акрополе, Фидий отлил еще из бронзы по заказу лемнитов и Афины Лемниас.

и в силу слова человеческого и целые дни были готовы проводить в разговорах о какой-нибудь «истине», а Дориан прежде всего не доверял ни мысли старой, уже воплотившейся, ни мысли новой, разрушающей, а еще меньше – жалкому слову человеческого.

И тут у Периклеса, несмотря на то что от хиосского в головах уже зашумело, начался этот свойственный им разговор о предметах возвышенных.

– Но какая же «истина»? – прожевывая сухую, сладкую фику, проговорил Протагор. – Истины нет, но истин – много. Мера вещей – человек: и бытия, насколько оно есть, и бытия, насколько его нет. Что для одного истина, то для другого – заблуждение. Сотни раз мы возвращаемся к этому вопросу, но никак не можем остановиться ни на чем. Достаточно послушать наших философов, которые так ожесточенно один другому противоречат – и уже века! – чтобы понять, что истина человеку недоступна...

– Тогда, значит, и то, что ты утверждаешь теперь, не истина, но заблуждение, – бойко сказал Мнезикл, строитель, любивший эти словесные стычки. – А если возвещаемое теперь тобою – заблуждение, то значит, истина есть и мы должны искать ее.

– Ты играешь словами, как самый настоящий софист... – сказал без улыбки Антисфен, принимая новую чашу от Периклеса. – Я думаю, что это воистину общественное бедствие, эта наша новая игра словами: куда ни сунься, везде кричат и спорят о словах...

– Ты слишком строг, Антисфен, – сказал Сократ миролюбиво. – Не надо мешать людям искать истины, красоты, добра. Разум всемогущ, и мы будем лучше, когда хорошенько поведем в его силу. Анаксагор прекрасно говорил, что всему дает порядок и движение разум, всеоживляющая душа, присущая в разной степени всем живым существам, растениям, животным, человеку...

– Но тут встает вопрос, – возразил, сдерживая зевок, Протагор, – что такое этот разум? Как познать его свойства и силы? Конечно, ответа надо искать в человеке, как существе наиболее разумном на земле...

По добрым губам Дориона, под тоненькими молодыми усиками скользнула улыбка, но он ничего не сказал.

Аспазия почувствовала, что хиосского выпито достаточно и что – это она знала по опыту – есть опасность, что легкий философский спор легко может выродиться в неприятные колкости, и потому, опять поправив прекрасное запястье и полюбовавшись белым мрамором руки, проговорила:

– После долгого трудового дня – для меня эти народные праздники труднее всякой работы... – не стоит предаваться философским рассуждениям, друзья мои. А вы вот лучше скажите мне, правда ли, что наш милый Эврипид кончил наконец свою «Медю»...

– Почти... – сказал Фидиас, сделав над собой усилие: он видел, что своей угрюмостью он мешает другим наслаждаться дивным вечером и выдает немножко себя. – Он читал мне некоторые отрывки...

– Ну и?.. – с любопытством спросила Аспазия.

– Меня вообще он... как-то мучит этой своей страстностью, неуверенностью во всем, я лично предпочитаю Эсхила и Софокла, но и у него есть сильные страницы... – сказал Фидиас и опять почувствовал, как болит его сердце об этой ужасной, но милой Дрозис. «А-а, все бросить бы и уехать с ней к ней на Милос...»

Заиграл легкий разговор о театре, драматургах, актерах. Аспазия, исподтишка любуясь собой, цитировала на память авторов и высказывала о них тонкие замечания. Периклес, слышавший их уже не раз, немножко скучал, а Дорион и совсем сдвинул брови: все это казалось ему большими пустяками. Сократ внимательно, как всех и всегда, слушал. Луна, уменьшаясь и бледнея, поднималась все выше и выше над осеребренным городом.

Сократ поднялся первым.

– Ну, надо идти... – сказал он. – А то Ксантиппа опять браниться будет. Сегодня поутру такая гроза была, что...

Он засмеялся и махнул рукой. Засмеялись и все: воинственные выступления Ксантиппы были сказкой всех его приятелей.

– Пора и мне... – сказал Антисфен. – До Киносарга не далеко...

– А ты не забыл, Периклес, о празднике у нашего милого Фарсагора? – спросил Сократ. – Это послезавтра. Он очень рассчитывает на честь твоего посещения...

– Ты знаешь, Сократ, что я не бываю нигде... – отозвался Периклес. – Но на этот раз я сделаю маленькое исключение, чтобы показать Фарсагору, как я люблю его и его стихи. Надеюсь, будет не очень многолюдно?

– Нет, нет... – засмеялся Сократ. – Фарсагор твои вкусы знает.

Аспазия попыталась было из вежливости удержать философов, но они мягко настояли на своем. За ними поднялся и Дорион. Периклес проводил друзей до выхода, а там Антисфен, сгорбившись, направился уже затихающими улицами направо, к стадиону, а Сократ с Дорионом – налево: Сократ жил в начале священной Элевзинской дороги, откуда было рукой подать до агоры, Пникса и всех других мест скопления афинян, которые так любил заботливый о благе людей Сократ. Дорион же хотел воспользоваться случаем, чтобы побеседовать с Сократом наедине. Такие возможности были очень редки: Сократ любил многолюдство и всегда был на людях...

Скоро ушел томимый тоской Фидиас, ушли строители и толстый Лизикл, вздыхая, собрался. У Периклеса остался только Протагор. Им надо было переговорить: при последней раздаче наград один из бойцов, состязавшихся в стрельбе из лука, нечаянно убил Эпитемия, фессалийца, и Периклес с Протагором долго ходили теперь по перистиллю, сосредоточенно обсуждая вопрос, кто должен был сообразно с разумом и справедливостью быть признан виновным в убийстве: стрела ли, бросивший ли стрелу или, может быть, люди, устроившие состязание?⁴

⁴ Может быть, современные государственные деятели, не спускающиеся в своей деятельности ниже всемирных конференций по организации мирного сотрудничества человечества, будут снисходительны к наивному Периклесу и Протагору, если они вспомнят, что еще в XVIII веке, даже в 1845 г. в Европе были судебные процессы, на которых выступали в качестве обвиняемых животные. И – присуждались к казни...

II. Афинская ночь

Сократу тоже хотелось заглянуть в эту молодую, но такую замкнутую душу, о дерзаниях которой он догадывался. Этим заглядыванием в души он занимался на агоре, в Акрополе, в лагере под осажденной Потидеей, в храмах, в гимназиях, всюду. Но сегодня ему пришлось говорить особенно много, он чувствовал себя усталым и потому пока молчал, с удовольствием вдыхая прохладный ночной воздух, нежно пахнущий фиалкой, любуясь звездами и прислушиваясь к праздничному шуму потихоньку разбредающих по домам гуляк.

Сократу было под сорок. Он был сыном бедного скульптора Софрониска и повивальной бабки Фенареты из маленького местечка Алопес, лежавшего за Ликабетом в часе небыстрой ходьбы от Афин. Предание говорило, что род Сократа был весьма древний и знатный и восходил будто бы к Дедалу, которому приписывалось введение в Афинах искусств и ремесел и сын которого, Икар, сделал попытку подняться на крыльях к солнцу и – разбился.

Сперва Сократ начал было продолжать дело своего отца и по дороге в Акрополь стояла даже его мраморная группа харит, но потом его увлекла философия и он, послушав знаменитого Продика и геометра Теодора из Кирен, и сам вступил на это поприще: ему – как, впрочем, и всем в этой области – казалось, что он непременно скажет какое-то последнее слово в туманах бездорожной мысли человеческой, все приведет в ясность. Труды предшествовавших и современных ему философов казались ему нелепыми: одни считают, что все сущее – едино, другие, что оно многообразно и раздельно, одни, что все движется, другие, что все находится в полном покое, одни, что все в мире рождается и погибает, другие, что ничего не рождается и ничто не погибает. И ему казалось, что всякая душа человеческая беременна истиной – он не задумывался над этим большим словом слишком пристально, как бы решив, что значение его известно всем и каждому – и нужно только заставить эту душу разродиться. Этот способ извлечения истины из души называл майетикой. Он точно не замечал, что все, кого он подвергал этому своему акушерскому искусству, рожали как раз ту истину, которую ему хотелось видеть рожденной, и что очень часто воспитанники его совсем и не думали эти открытые им истины делать своей путеводной звездой по лабиринтам жизни: «истина» была нужна как будто только для эристики – искусства спорить – а в жизни каждый из них руководился только теми тайными силами, которые, как ветер в ветрилах судна, и двигали его вперед равнинами жизни. Самообманы, которые владеют человеком, воистину бесконечны... Он ходил, слушал, смотрел, помогал истине и стал настолько уже известен, что Аристофан стал даже высмеивать его в своих комедиях.

И вдруг один из его приятелей – худой, как смерть, чужак Херефон, служивший посмешищем всему городу, принес из Дельф, от пифии, ее отзыв о Сократе как о мудрейшем из людей. Действительно ли сказала ему это пифия, или добряк, страстно привязавшийся к Сократу, сам придумал это для вящего прославления философа, неизвестно, но если кто был в Афинах изумлен-таки выступлением пифии, то это прежде всего Сократ. Он и раньше сблизился с увлечением с философами из ионийской школы, и элеатской, за знаменитым Зеноном следовал даже на Самос, усердно посещал кружок Периклеса и пр., а теперь он еще больше расширил свои знакомства, бывая у разных поэтов, политиков, ремесленников, оружейника Пистисаса, знаменитой красавицы-гетеры Феодоты, и с удивлением убеждался, что в самом деле все они решительно ничего не знают. И постепенно он уперся в мысль, что знание для человека – единственное благо, а невежество – единственное зло и источник всякого греха. Он совершенно, к великому горю бурной Ксантиппы, забросил семью, которую должен был теперь кормить старший сын ее от первого мужа, Лампроклес, и, если бы не друзья его, которые тихонько помогали ему – другие наставники в мудрости не стеснялись заламывать со своих учеников огромные гонорары, – он и совсем задохнулся бы в нищете. Тогда всякие ремесленники пре-

зирались – спартанцы не терпели их, в фивах закон запрещал избирать в магистратуру людей, которые в течение десяти лет не воздерживались от всякого ремесла или торговли, а потом Платон и Аристотель выражали даже мнение, что ремесленники и торговцы не должны пользоваться гражданскими правами – но в особенности презирались люди, продававшие свой умственный труд. Когда Исократ оказался вынужденным открыть школу красноречия и принимать деньги, он плакал от стыда⁵.

Мысль, что он так, может быть, и упустит случай переговорить с Сократом наедине, заставила Дориона тихонько прокашляться, и он обратился к Сократу:

– Учитель...

– Я совсем не учитель... – живо обернулся к нему Сократ, не терпевший такого титула. – Я такой же ученик, как и ты...

Дорион не мог сдержать улыбки.

– Раз ты всех учишь, значит, ты учитель... – сказал он. – Но не будем спорить. Я хотел задать тебе несколько вопросов о том, что меня в твоих словах смущает...

– Говори, говори, Дорион...

– Первое – это твое постоянное повторение слов Хилона, написанных на дельфийском храме: «Познай самого себя». Люди читают там эту надпись века, но я решительно не вижу, чтобы у них из этого что-нибудь вышло. И потом, это твое: «я знаю только то, что я ничего не знаю»... Раз это так, то надо только молчать, а ты – учишь. Значит, ты знаешь достаточно не только для себя, но и для других даже. Ты то и дело противоречишь самому себе. И из этого надо как-то вылезти. Я не понимаю этого твоего «познай самого себя»...

– Почему? – с удивлением спросил Сократ и даже остановился.

– Да потому, что, если ты только начнешь познавать самого себя, углубишься себе в душу, ты встречаешь на пути – и очень скоро – только глубокий мрак, в котором не видно решительно ничего... И даже до этого конечного мрака, в котором теряется все, видишь ли ты там действительно себя или... только воображаешь это, а на самом деле ловишь только тени. Эта ночь со звездами менее темна, чем та, которую находишь в себе... И если бы я был софистом, который любит играть словами, я указал бы тебе на внутреннее противоречие твоего утверждения, что ты знаешь только то, что ничего не знаешь, ибо если ты знаешь хотя бы только то, что ты ничего не знаешь, то ты никак уже не можешь сказать, что ты не знаешь ничего. Но я не люблю трескотни пустых слов. Я давно уже понял, как бессилен человек в слове своем. Но тут я все же сказал бы вслед за Горгием точнее: я знаю только то, что я знаю. Понятно, этого очень мало, но все же это кое-что. Но из всего того, что я знаю, Сократ, менее всего я знаю и менее всего могу я узнать – себя...

– Продолжай, продолжай... – с интересом сказал Сократ, любовно глядя на нарядно сияющий над засыпающим городом Акрополь. – Продолжай...

– Я не знаю, что такое вот этот Акрополь... – продолжал тот. – Не знаю, что такое эти его совы, которые мягко летают теперь вокруг него с жалобными криками. Не знаю, что такое Афина Промехос, которая стережет в ночи свой город. Я догадываюсь, что никакой Афины нет совсем, но тогда откуда же взял ее Фидиас и зачем? И мне кажется, что она – это частица того меня, которого ты зовешь познать себя и которого познать я все же не могу, – не хочу, ибо я только этого и хочу, но просто не могу, как не могу я видеть глазом того, что происходит за тысячу стадий. Да что там Афина Промехос! Вон за забором воет на луну собака, и я не знаю, что такое собака и что значит этот ее вой. А эти звезды?... Может быть, если бы я в самом деле мог познать самое трудное, самого себя, так мне раскрылась бы тайна и звезд, и Афины Про-

⁵ Лорд Д. Байрон и аристократы, основатели «Эдинбургского Ревью», были чрезвычайно стеснены гонораром за свои первые статьи. Потом, конечно, потихоньку привыкли. Руссо был известен своим отвращением к гонорарам. Толстой говорил об этом с чрезвычайной брезгливостью. Древние евреи считали величайшим позором брать деньги за научение.

махос, и этого воя голодной собаки, которая, вероятно, жалуется в небо на то, что ее забыли накормить... Вот сейчас мы слышали, как Алкивиад прижал к стене Периклеса в разговоре о законах. В самом деле, что такое законы, нужно ли повиноваться им, что такое справедливость и пр.? Может быть, все это ты разрешаешь и правильно, но какое мне дело до какой-то там справедливости или свободы, когда я не знаю того, кто это должен быть справедливым, или свободным, не знаю ни себя, ни тебя, ни Периклеса, ни Протагора, ни кого бы то ни было.

– Ты ставишь большие вопросы, Дорион... – задумчиво сказал Сократ. – Мы подошли уже к моему дому, но я готов стоять с тобой у порога хоть до утра, чтобы, если уж не разрешить твои недоумения, так хоть, по крайней мере, проложить к их разрешению первый путь...

– А разрешение возможно? – посмотрел на него Дорион своими чистыми и строгими глазами.

– Не знаю... – отвечал Сократ, останавливаясь у себя под окнами. – Но я знаю, что, когда я лежал в колыбели, я знал еще меньше. А потом, с годами, я стал знакомиться с жизнью и людьми и потихоньку узнавал кое-что о том, что меня окружает. Из этого я могу заключить без большой возможности ошибки, что с годами, если я не узнаю всего – может быть, это только удел Того, кто стоит за богами-олимпийцами и Кого иногда я чувствую в мире смущенной душой – то все же я узнаю немножко больше. Свинья в грязной луже тупо хрюкает, не подымая глаз в небо – человек бьется о небо, мучается, желая вырвать у него тайну или тайны его молчания. Надо думать, надо биться, а что из этого выйдет, это знают только боги... если они, впрочем, такие, какими мы их себе воображаем, в чем – между нами – я сомневаюсь все больше и больше...

– Извини меня, Сократ, что я тут перебею тебя... – сказал Дорион. – Вот ты говоришь, что ты в колыбели не знал ничего, а мне часто кажется... да, да, только кажется, потому что логика тут бессильна... да и вообще настоящая мысль человеческая живет всегда вне логики... мне кажется, что пока человек, лежа в колыбельке, играет с солнечным лучом, он еще знает кое-что, но по мере того, как он растет, это настоящее знание он точно все более и более забывает. Слышишь, в олеандрах защелкал соловей? Он не посещал гимназии, не разговаривал с мудрыми, но разве можем мы сказать, что он не знает ничего или хотя бы того главного, что составляет самую сердцевину жизни? Ах! – вдруг воскликнул он и схватился за свою золотисто-кудрявую голову. – Вся беда, может быть, в том, что у человека нет достаточно слов, что он может написать для театра трагедию, но он не может высказать самого важного, самого светлого, того, что только его человеком и делает, что... Я уверен, что ты не понял меня, не понял, что я говорил тебе о мудрости ребенка в колыбельке, о соловье в зарослях олеандра, о собаке, воющей за забором...

– Ну, отчего же?... – сказал Сократ не очень уверенно. – Но в каждой беседе нужен порядок и последовательность. Ты знаешь, что душа, заключенная в твоём теле, управляет им как ей угодно...

– Но я этого совсем не знаю!.. – тихо уронил Дорион, потупившись.

– погоди. И точно так же, надо полагать, и извечная мудрость управляет Вселенной по своей воле...

– Но я не вижу никакой мудрости во Вселенной! – все так же тихо, но упрямо вставил Дорион. – Я вижу случай во всем... я вижу вихри...

– Но погоди же... – загорячился Сократ. – Если твой ум может одновременно думать об Афинах, Египте, Сицилии, то ум божий может мыслить одновременно обо всем существующем и...

– Нет, это просто сил никаких нет!.. – раздался вдруг над ними раздраженный женский голос. – Этим соловьям дня мало – им нужно еще баламутить своей болтовней всех и ночью... Нет, довольно!..

Из темного окна вдруг высунулись две руки с ведром, и на голову Сократа с шумом обрушилась грязная вода, полная всяких кухонных отходов.

– Пфу!.. – задыхаясь, затряс он головой. – Ах ты, сумасшедшая баба... Ну, что ты скажешь, Дорион?! Впрочем, – усмехнулся он, – в природе всегда так бывает: после грозы – ливень. А у нас гроза была уже с утра. И всю одежду вымочила этой своей гадостью... Но она права: надо дать людям и покой. Мне было бы интересно закончить эту беседу с тобой, но придется ее отложить: я весь промок.

– Ты работал бы лучше с твоим Дорионом, чем зря языки трепать... – кричала им сверху Ксантиппа. – Иди сейчас же домой, а то я и его оболую! Полуночники...

В соседних домах уже выглядывали из окон взлохмаченные любопытные головы. К домашним бурям у Сократа соседи привыкли, но повторение их не утомляло: репертуар у Ксантиппы был чрезвычайно богат и страстен. Почесываясь и зевая, они ждали продолжения, но Сократ с добродушным смехом простился со своим молодым другом и скрылся в своем уголке домика. Дорион, тревожа собак, пошел к себе, к Антисфену.

«Нет, я опять не точно высказал свою мысль... – думал он. – Погружаясь в себя в поисках себя, иногда, действительно, погружаешься в безотрадный мрак, но иногда, как вот теперь, навстречу ищущему откуда-то сияет там свет, мягкий и радостный, точно говоря: вот это – Ты. Но именно в этом-то свете все эти рассуждения философов, все эти башенки слов и кажутся ни на что не нужными... Вокруг скопилось слишком много мусора веков, – вдруг перескочила его мысль, – и люди только делают вид, что во все это верят... И вместе с софистами – настоящими, не болтунами – надо как-то эти дикие заросли расчищать, чтобы можно было дышать человеку вольно. И этот свет – может быть, это только игра воображения. Я знаю только то, что я знаю, и не знаю того, чего я не знаю – не надо принимать своих неясных, хотя бы и красивых, фантазий за неопровержимые откровения. Может быть, и света никакого нет...»

И молодой Дорион решил уже в тысячный раз оставаться при факте. Он был так молод, что еще не успел узнать, что факт – это такое же неуловимое, неясное, мимолетное явление, как мысль, как слово, как сновидение. Но в нем было хорошо то, что он, действительно, ничего не боялся, что внутренняя свобода для него была, действительно, дороже всего и что прежде всего хотел он заглянуть в то, что было за всеми этими пестрыми бирюльками, которыми тешут себя люди – начиная с Парфенона и Афины Промахос и кончая тем кровопролитием, которым греки занимались теперь на крайнем северо-востоке Эллады, под Потидеей...

А ночной воздух весь был напоен нежнейшим запахом фиалок и умирительно было от него в молодой душе... И светло вспыхнул в ней стих Софокла из оды: «Много чудес на свете, но нет чуда более великого, чем человек...»

III. Пигмалион

Нелегка была эта тихая, душистая ночь и для Фидиаса. По пути от Периклеса его охватила страстная жажда видеть эту обаятельную и ужасную Дрозис, зарыться лицом в ее колена, ощущать ее всю всею душой, верить, что счастье будет, но он не знал, что делать, он стонал. Идти к ней было поздно – не потому, что час был слишком поздний, а потому, что теперь, в праздник, конечно, у нее пируют ее богатые поклонники, и ему там снова и снова придется корчиться на горячих углях ревности... И, повесив голову, он, то и дело задираемый хорошо нагрузившимися гуляками, ничего не видя, пошел к себе.

Ему было за сорок пять. Он был славен по всей Элладе. Три Афины его украшали Акрополь. Его Зевс Олимпийский заставлял говорить о себе весь тогдашний мир.

При виде Зевса говорили, забывались все горести людские: так много было в нем «света и милости». Это было «священное произведение, прекрасное до совершенства». Теперь он ведал всеми постройками на Акрополе и уже обсуждал с Периклесом дальнейшее: и храм Афины Нике – «Бескрылой Победы» – и восстановление древнего Эрехтейона. И потому – подкопы шли под него со стороны завистников неустанно. Он уже был раз под судом, обвиненный в нечестии: он вылепил на щите Парфенона портрет Периклеса и свой. Но его оправдали: Фидиас был Фидиас. Теперь искали другого повода подкопаться под него, а пока распускали из-под руки всякие грязные слухи о нем. Он не обращал на это никакого внимания: в центре жизни его стала прекрасная и ужасная Дрозис. И эта Дрозис произвела настоящий переворот в его жизни как художника: его искусство перестало удовлетворять его.

Войдя к себе, – в доме все уже спали, – он зажег светильник и прошел с ним в ту большую, почти пустую комнату, направо от входа, которая служила ему личной мастерской. Его ученики и помощники работали в другой, отдельной, и он все реже и реже заглядывал к ним. Он остановился на пороге: посередине покоя под покрывалом стояла только что оконченная им статуя Афродиты, которую он изваял с Дрозис. Это была и его безысходная мука, и его торжество, а полупустой покой из мастерской стал его храмом...

Одним движением он сбросил с нее покрывало и сразу его охватил знакомый ему мучительный восторг. Афродита была изображена обнаженной до бедер. Одной рукой, правой, она придерживала соскользнувшие с нее покровы, а левая рука была приподнята в жесте необычайной прелести и стыдливости: как будто кто-то застал ее в этом полуобнаженном виде, и вот она торопится прикрыться, остановить дерзкого и не только движением руки, но и всем этим удивительным выражением божественно-прекрасного лица... Как всегда, он обошел ее кругом и остановился так, что все ее лицо было видно ему и душа его трепетала от изумительной в красоте своей линии ее правого бедра...

В это время в Элладе заговорили о молодом Поликлете. Говорили, что он скульптор людей, как Фидиас – скульптор богов. И вот тут-то и была скрыта драма великого артиста. Да, он ваял преимущественно богов, но не тех богов, которых в свое время изображал Гомер и Гезиод, пьяных, лгущих, дерущихся, распутных, а таких, какими они должны были бы быть, если бы они были настоящими богами. И вот, когда теперь Афродита была кончена, он вдруг иначе увидел свои прежние создания: да, это были боги, торжественные, величавые и – мертвые. Это было то, чего не бывает. А вот это – он застонал, как всегда, от восторга – это было каким-то прекраснейшим прорывом в живую жизнь. И это была не богиня, а Женщина или Женщина-богиня, живая, теплая, необыкновенная, такой взрыв творческих сил, что ему иногда становилось даже страшно перед ней и не верилось, что это он создал ее, что вообще человек может создать что-либо подобное⁶.

⁶ По описанию читатель, вероятно, сразу узнает Афродиту Милосскую. Кто и когда создал ее, неизвестно. Может быть,

Эта статуя была его мука, его казнь: это была и Дрозис, и это был холодный, мертвый камень, это было крушение прежнего Фидиаса, и это было торжественное воскресение какого-то нового артиста, и это была мучительнейшая красота, близкая, рядом, и недоступная, как будто она была на вершине Олимпа... Вся эта прекрасная фигура дышала неизъяснимой женственностью, в ней теплилась вся безмерная любовь его к ней, несуществующей, – ибо Дрозис живая была НЕ такой... – и ей хотелось молиться, лежать перед ней, у ее ног в сладком изнеможении какого-то необыкновенного умирания. Он чувствовал, как в душе его все больше и больше разгорается опять огневая буря любви и муки. Дрозис говорила ему, что она любит его, но она говорила ему это так, что было бы лучше, если бы она не говорила этих слов совсем. Она уже принадлежала ему, но это было источником муки нестерпимой, ибо она, – не подчеркивая этого – принадлежала и другим: она была – «благодарная». Он помогал ей, но ей никаких денег не хватало: она не знала им счета... И все это хотелось бы забыть хотя бы только на эту короткую серебряную, душистую ночь...

Вспомнились уже сгоревшие дни, когда он, творец Зевса Олимпийского, так волновался: дадут ему или другому поставить эти статуи Афины в Акрополе – оставить на века память о себе в людях? Великое дело осталось за ним, в главной части оно уже выполнено, и слава его гремит уже по всей Эллад. Но все это он отдал бы теперь за ее любовь, за настоящую любовь, которая одна только и заслуживает этого имени. Только спаривание – он весь затрепетал – это не любовь. Любовь – это жертва самозабвенная, сгорающая на алтаре с наслаждением, с которым ничто в мире сравниться не может, любовь – это небо жизни, к которому ничто нечистое прикоснуться не может. Но именно этого-то и не было – мало того, она просто не понимала, делала вид, что не понимает, не верит, что это бывает, а, когда он в муке у ее ног говорил ей об этом, она с удивлением смотрела на него смеющимися глазами: «Что может этот человек придумать!.. И зачем?.. Когда все так просто...» И это было так ужасно, что и теперь на нем проступил холодный пот и сердце замерло в мучительном томлении. И тем ужаснее все это было, что он чувствовал за этим обманом настоящую Дрозис, которая пряталась от него, которая точно нарочно показывала себя такую, какою видеть ему было мучительно...

По городу лаяли собаки. Где-то в отдалении слышались голоса запоздавших гуляк. Ему почудились знакомый голос и раскат заразительнейшего хохота: так смеялся только Алкивиад. Пламя светильника иногда чуть колебалось, и тогда казалось, что Афродита тихо движется, живет. И вдруг в душе всплыло древнее сказание Кипра о Пигмалионе, для которого богиня превратила сделанную артистом статую в живую Галатею. В душе, стоящей на рубеже веры и неверия, как стояли тогда в Эллад тысячи и тысячи душ, заколебалась, как огонь светильника, неуверенная молитва.

«Сверши, о Великая, такое чудо и для меня!.. – крепко сжимая руки и глядя испуганными глазами в прекрасный лик, шептал он, как в бреду. – Оживи ее для меня, но так, чтобы жизнь ее началась с этой ночи, только, чтобы не стояло за ней этого ужасного прошлого ее, чтобы была она чистой звездой с ночного неба, а не... – Его свело в судороге отворачивания, и опаляющей молнией прошла по душе боль... – Да, чтобы она была чиста, как звезда, чтобы был для нее в мире только я один, я, для которого никакая жертва не страшна, но, наоборот, чем она невозможнее, тем желаннее и слаще... И мы бросили бы с ней этот вечно баламутящийся, проклятый город и все эти его грязные свары и унесли бы с нею на ее тихий Милос, где так дремотно плещут лазурные волны на береговые скалы... Сверши, Великая, это чудо, сделай мою жизнь радостными Панафинейми в цветах и песнях!.. О, если бы это только случилось – хотя этого никогда, знаю, не случится... – я воздвиг бы Тебе такой храм, какого еще

маленький анахронизм тут и есть, – есть предположения, что она создана несколько, может быть, на полстолетия позднее, – но автор сознательно пошел на этот анахронизм, только чтобы говорить о Ней, этом изумляющем чуде.

не видала земля... Ну, сделай же чудо, даруй ей светлую жизнь!.. Даруй мне, Всеблагая, Всемогущая, любовь ее!..»

И он, сам над собой горько усмехаясь, поднял воспаленные, ожидающие глаза к прекрасному лику и ждал: вот еще одно мгновение, она шевельнется, опустит к нему свой взор и озарит его с пьедестала улыбкой. И начнется такая сказка, какой еще не знала земля... Но – неподвижна была Афродита-Дрозис, молчала свежая, серебряная лунная ночь, и все, что на земле было, это только эта нестерпимая, рвущая душу боль... «А тогда, – вдруг прошептал он запекшимися губами, – убить и эту, и ту...» И, едва выговорив эти кровавые слова, он уже знал, что никогда этого не будет, ибо мучиться у ее ног – это уже блаженство, которое он не отдаст за всю радость елисейских полей. Эта кровь и желчь сердца и есть жертва его ей, прекрасной и страшной... «Нет!.. – вдруг неожиданно вихрем пронеслось над его душой. – Софисты правы: никаких богов нет... Это сказки людей...» Но тогда еще пустее становится земля и еще непонятнее жизнь, в которой, как смертельная рана, зияет эта черная дыра отрицания на том месте, где раньше сияли боги, хотя бы и выдуманные...

Мир жалко завалился. Прекрасный Акрополь с прекрасными храмами превращался в груды развалин, в которых живут только совы да ящерицы. Жизнь становилась холодной, как могила, и пустой, как море в бурные дни, когда кончаются «надежные месяцы» мореходов. И прижавшись горячим лбом к холодной статуе, Фидиас старался только об одном: не думать, не думать, не думать... Нет в жизни ничего достоверного, и все эти так называемые мудрецы наивны, как ребенок...

Вдали опять слышались пьяные крики веселых гуляк, и опять Фидиасу почудилось, что он различает красивый голос и заразительный смех молодого повесы Алкивиада. «Вот этот не философствует и не мучается...» – подумалось ему.

IV. Накануне

В Афинах становилось все более и более тревожно: в воздухе определенно запахло не только фиалками, но – это много хуже – и «великими событиями». Твердая политика Периклеса на северо-востоке – Афинам было необходимо хорошо укрепиться там, чтобы обезопасить себе путь в Понт Эвксинский, через который из южной Скифии им доставлялись сушеная рыба и хлеб – все больше и больше возбуждала страсти в Элладе. В то время она была разделена на три лагеря: Афины со своими союзниками, вольными и невольными, Спарта со своими союзниками и нейтральные городки-государства, которые старались держаться в стороне от высокой политики, но обстоятельствами часто вынуждались становиться то на одну, то на другую сторону. Периклес сомневался: не слишком ли широко тратил он народные средства на постройки на Акрополе, и про себя решил экономить: что-то еще принесет назревающее столкновение со Спартой, ставшей во главе пелопоннесской лиги. Но в обществе и народе жизнь шла по-прежнему шумно и весело: Афины переживали период необычайного расцвета и жили широко. Старинная простота все более уступала место новой «изнеженности», по поводу которой так любят возвышенно, но бесплодно декламировать разные профессора и другие заботники. Богатые люди уже одевались теперь в египетские или финикийские ткани, полы покрывались коврами из Сард, пили и ели из металлической посуды Тира и Сидона: свое уже не удовлетворяло, своим мог довольствоваться разве демос. Появились бани и даже ванны. Появились граждане, которые являлись на агору, по примеру пышных ионийцев, раздушенными.

Фарсагор, поэт и богач, потирая свои всегда холодные, слабые ручки, в последний раз рассеянными глазами оглядел убранные цветами столы, расставленные по покою: он опасался пировать ночью в еще прохладном по-весеннему саду. Его любимый раб Феник внимательно смотрел в худое, близорукое и некрасивое лицо владыки и удовлетворенно улыбнулся: Фарсагор был явно доволен всем.

– А амисы? – уронил поэт вдруг.

Амис было название... ночного горшка, которые обязательно ставились на время пира под все ложа. Эта мода пришла из пышного Сибариса. В случае надобности их подавали гостям рабы, а в случае ссоры между гостями – это случалось довольно часто – они служили дерущимся прекрасным оружием: большим удовольствием было разбивать их о голову врага своего.

Феник улыбнулся:

– Несут, несут... Не беспокойся, господин: ты знаешь твоего верного Феника. Разве он когда позволял что-нибудь забыть или упустить из вида?

– Правда, правда... – улыбнулся Фарсагор. – Ты свое дело знаешь прекрасно.

В общем, положение рабов в Афинах ужасным не было. Некоторые великие мудрецы – как потом Платон, например, – даже жаловались, что им было слишком хорошо. По наружному виду, по одежде раба было почти что невозможно отличить от афинского гражданина. Они служили в полиции, конторщиками, секретарями у чиновников – к сожалению, многочисленных, – хранителями государственных архивов и часто занимали выдающееся положение. Но бывали и метельщиками улиц и палачами. Они могли жить где угодно. Большинство их принадлежало частным владельцам. Их покупали на рынках, куда они попадали как военнопленные, как жертвы набегов за рабами, как наказанные за разные проступки по суду. Большею частью это были «варвары». Цена мужчины поднималась иногда до трехсот драхм, женщины шли по семьдесят драхм. В богатых домах число их доходило до пятидесяти. В земледелии их занято было мало, в промышленности много. Художники имели помощников-рабов, работавших в тесной связи с ними. На Акрополе работало немало рабов на условиях, равных со свободными. Но рабы, работавшие в серебряных рудниках Лавриона под плетями надсмотр-

щиков, хвалить богов за свою судьбу никак не могли... Все рабы имели право выкупа на волю и тогда становились «метеками», неполноправными гражданами. Некоторых отпускали на волю за особые заслуги перед владыкой или Афинами. Никий, имевший до тысячи рабов, сдавал их в наем и имел доход в один обол – четыре копейки золотом с человека в сутки, то есть до 60 000 драхм золотом в год.

У Фарсагора, доброго от лени и безразличия, рабам было и совсем недурно, а в особенности с тех пор, как Фарсагор развелся со своей женой и приблизил к себе одну из рабынь, молоденькую и хорошенькую Сиру.

Дом Фарсагора считался одним из богатых домов Афин, но, как всегда, построен он был из кирпича-сырца и дерева, и стены были настолько тонки, – как у всех – что воры легко проламывали их. При доме была своя чудесно оборудованная баня и ванна, в которой Фарсагор сидел часами: это было новое увлечение афинян. Были на усадьбе и своя булочная, и пекарня, и погреба, и цистерны для запаса воды, и подвалы. Стены, однако, были побелены только известкой. Обстановка состояла из постелей, лож, кресел, сундуков, в которых хранилось всякое добро. Фарсагор украсил свое жилище лишь несколькими красивыми вазами, светильниками из Коринфа да целой массой статуэток из Танагры, от которых он сходил с ума: он был так уж устроен, что непременно должен был сходить с ума от чего-нибудь. Для этой цели годились статуэтки, породистые собаки, роскошные списки любимых авторов и в особенности своих произведений. Когда был один, Фарсагор довольствовался простым столом: похлебкой из муки, лепешками с маслинами, овощами, орехами, сырами, фигами – афиняне так любили их, что вывоз их из Аттики был воспрещен, – но для друзей Фарсагор не жалел ничего, и сегодня его повара наготовили всякого мяса, рыбы и птицы, а вино подаваться должно было только хиосское, из округа Аирузия – лучшее вино Эллады.

– А китносский сыр? – опять не без испуга спросил Фарсагор Феника. – Ты знаешь, как любит его Сократ...

– Есть, есть!.. – улыбнулся тот своим толстым лицом. – Все есть...

На острове Китнос росла какая-то особенная трава, которая давала сыр исключительно высокого достоинства. В последнее время сперва по островам, а потом и по всей Элладе стали сеять эту траву – и сыроварение стало быстро улучшаться...

– А миндаль? – спросил заботливый хозяин.

Феник уже только рассмеялся.

Но в это время у входа раздался стук молотка и веселые голоса. Худенький и некрасивый Фарсагор – никакая гимназия, никакая атлетика ему не помогли и он так и остался каким-то чахлым цыпленком – оправил волосы и одежду и обратился к дверям, навстречу первым гостям: Сократу и ослепительной в своей красоте Дрозис, которая так резко выделялась среди других афинянок своими черными волосами – афинянки были больше золотистыми блондинками, а когда они ими не были от природы, они делались ими в тиши своего гинекея посредством всякого рода ухищрений – и черными, палящими глазами, которые то грели и ласкали так, что и самые холодные головы туманились, а то наливались черной грозой, такой, что и у неробких душа в пятки уходила, тем более что по древней эллинской привычке она умела «выражаться» так, что не всякий гоPLIT мог за нею угнаться в этом красноречии. Правда, в последнее время она заметно менялась: и язык ее стал скромнее, и часто в глазах ее ходили какие-то большие и, по-видимому, невеселые думы...

Фарсагор приветливо встретил дорогих гостей своей ласковой, но какой-то неуверенной улыбкой – он весь был какой-то неуверенный – и запутался в похвалах красоте Дрозис. Путался же он всегда – больше от рассеянности, а рассеянность происходила главным образом оттого, что он всегда охотился за красивыми стихами, а когда такой стих наклеивался, он забывал обо всем.

И не успели гости в ожидании пира присесть, как стали подходить и другие. Среди них особенно выделялись пожилой уже Софокл, с его висящими вниз усами над маленьким ртом и мягкими глазами, и Эврипид, красивый, умный лик которого останавливал на себе внимание. Он, как всегда, с наступлением теплого времени поселялся в пещере около Саламина, чтобы писать там вдали от людей, и это было его последнее появление в обществе в этот сезон. Если Эсхил был в свое время, как полагается, обвинен в оскорблении святости мистерий, изгнан и умер при дворе тирана в Сиракузах, то такая же участь каждую минуту могла постигнуть и этих двух знаменитых драматургов: демократия не выносит, когда какая-либо голова поднимается слишком высоко над ее сереньким уровнем. Если от кроткого и ясного Софокла эта беда казалась далекой, то весь смятенный, полный противоречий и иногда резкий Эврипид, в котором прежнее религиозное чувство уступало все больше места скептицизму, был от беды совсем недалек. Среди гостей на этот раз – ради Периклеса – не было только обычных «паразитов», которые были в свое время так зло высмеяны в комедии Эвполида «Льстецы». Среди паразитов были философы, художники, поэты, ораторы, драматурги – все это самого третьего сорта и ниже – и они пили, ели, занимали денег у своих покровителей и забавляли их всеми доступными им способами. В других домах даже горбы их были в распоряжении хозяйина, но Фарсагор до рукоприкладства никогда не опускался. Их около него было немало, они потихоньку, как крысы, съедали его богатство, а он неуверенно смеялся. Впрочем, в последнее время маленькая Сира в союзе с грузным Феником начали все больше и больше оттирать их.

– Но я не вижу среди вас, друзья мои, ни Алкивиада, ни Периклеса... – сказал Фарсагор.

– Не огорчайся... – заметил Сократ. – Периклес обязательно будет: он озабочен новостями из Спарты, а Алкивиад – когда же и где был он к назначенному часу? У молодых это считается теперь верхом изящества, эти опоздания... Мы прекрасно можем начать...

Все возлегли под руководством хозяина по пышным лолам, пропели пэан, сделали возлияния в честь богов и сразу вокруг маленьких столиков – у каждого лола был свой – заплескали голоса. Афиняне так любили эти вечерние трапезы вместе, что, когда большие дома слишком долго не открывали своих дверей, приятели вскладчину устраивали вечеринки у какого-нибудь отпущенника, метека или у куртизанки... Рабыни перед едой мыли и душили всем ноги, а потом подали воды, чтобы гости сами умыли и руки. На маленьких столиках, чтобы вызвать жажду, уже ждали чеснок, лук, соль с тмином, соленые пироги с разными пряностями. В стороне на большом столе стояли всякие пирожные на меду – сахара эллины еще не знали... И пошли одни за другими всякие блюда, за которыми издали взволнованно следили прекрасные повара Фарсагора.

Он любезно занимал гостей и то и дело взглядывал на свою Сиру, которая явилась на пир в такой дорогой – и прозрачной – тунике из Аморгоса, что даже избалованная Дрозис не могла не позавидовать ей... И, когда гости насытились, столики были быстро убраны, все вокруг осыпано свежими цветами и хорошенькие рабыни разнесли всем венки: время было приступать к вину. Поднялись чаши. Начались речи, без которых афиняне жить не могли – ни на агоре, ни на Пниксе, ни в суде, ни даже за веселым пиром... И когда в головах затуманилось немного, запели застольную:

Вместе со мною ты вспень свою чашу,
Вместе со мною люби,
Миртом и розой главу увенчай
Вместе со мной!..

Но не успели они и кончить ее, как у входа раздался веселый голос и громкий, заразительный смех, который знали все:

– А-а, Алкивиад... Наконец-то!..

И на всех лицах засияли улыбки...

В ярко освещенный покой вошел увенчанный гирляндой из плюща и фиалок Алкивиад. После недавнего ранения под Потидеей, он немного похудел и стал еще более прекрасен. Даже то, что он немножко прищепывал, и то делало его как-то особенно пленительным. Он был признанный законодатель мод для всей Эллады и, если теперь он небрежно волочил полою гиматия по мозаиковому полу, – это была его новая выдумка, – то можно было предсказать, что через три дня вся молодежь Афин будет носить гиматий именно этим неудобным способом. Он приветствовал хозяина и гостей и, хохоча, бросил:

– А... а... Сама прекрасная Дрозис!.. Конечно, мое место у ее маленьких ножек... Надеюсь, прекрасная Сира, ты не будешь очень уж ревновать меня?..

Он красиво и четко опорожнил фиал⁷ драгоценного вина, благодарно подмигнул Фарсагору – хорошо винцо!.. – С улыбкой осмотрел веселые лица вокруг:

– Но вы, друзья мои, молчаливы и трезвы. Что это значит?..

Фарсагор сказал:

– Сократ только что окончил свою речь – может быть, теперь выступишь ты, Алкивиад?

– Превосходно! Я буду говорить о Сократе... – сказал Алкивиад, сияя улыбкой. – «Я начну свою похвалу ему сравнением его со статуей, с теми силенами, которых мы часто видим в мастерской скульпторов. Если вскрыть такого силену, окажется, что внутри его скрыто изображение какого-нибудь бога. Я утверждаю, что Сократ похож на сатира Марсия, изобретателя фригийской флейты, музыканта. От Марсия Сократ отличается тем, что в то время как тот очаровывал людей музыкой на своей флейте, Сократ делает это без помощи инструмента, одними словами. Когда мы слышим Периклеса или какого другого прекрасного оратора, мы остаемся спокойны, но если заговорит Сократ или если кто-либо передает нам его слова, женщина или даже ребенок, мы приходим в возбуждение и чувствуем себя в его власти... Когда он говорит, мое сердце бьется сильнее, слезы выступают на мои глаза и мой дух делается подобен духу человека распростертого ниц...»⁸ – Он вдруг икнул и с улыбкой извинился. – Да, этот Марсий довел меня до убеждения, что едва ли стоит жить тою жизнью, какую я вел до сих пор. Не отрицай этого, Сократ! Я уверен, вздумай я опять послушать твоих речей, я был бы не в силах противиться им и, вместо того чтобы думать о делах афинян, я...

Молодой, блестящий повеса Критон, друг Алкивиада, смешно подражая ему, икнул. Все засмеялись – Алкивиад первым. Не смеялся только Эврипид: он был уже точно в своей пещере под Саламином. Он обдумывал драму, в центре которой он хотел поставить Эсхила, того Эсхила, смятенная душа которого отразилась в его «Эвменидах». В конце концов, мы все «Скованные Прометеи»... – подумал он и, стряхнув с себя задумчивость, улыбнулся.

«...Поэтому-то я в присутствии Сократа закрываю уши, как бы в присутствии сирен, – продолжал Алкивиад. – И бегу от него, чтобы не состариться, слушая его речи... Этот человек заставляет меня испытывать чувство стыда, а я думаю, что никто и не верит, что оно еще присуще мне...»

– Но помилуйте!.. Но отчего же?.. – любезно пробормотал пьянеющий Критон, чуть прищепывая, как Алкивиад. – Но пожалуйста!..

«Только он один пробуждает во мне раскаяние и боязнь... – погрозив с улыбкой приятелю пальцем, продолжал Алкивиад. – Но когда я расстаюсь с ним, жажда славы снова овладевает мной. Часто я желал даже, чтобы его не было более среди живых, так как я не знаю, куда мне уйти от него. Вот какое впечатление производит на меня и на многих других музыка этого сатира...»

⁷ Фиал – стеклянная чаша, широкая и плоская, как пиала.

⁸ Здесь и далее кавычками обозначены цитаты из диалога Платона «Пир», где приведена эта речь Алкивиада.

– Да, да: заткни уши, беги вон, одно спасение... – пробормотал Критон и икнул уже настоящему. – Скверно дело: перепил!..

«...Он ставит очень низко красоту, богатство, славу – все, с чем толпа поздравляет их обладателя... – продолжал Алкивиад, которому начинали уже надоедать эти выпады подгулявшего приятеля. – Живя среди людей, он обращает свою иронию на все, чем они восхищаются. Но я не знаю, видел ли кто из вас тот божественный образ в нем, который обнаруживается, когда он бывает откровенен и серьезен. В нем столько прекрасного, чудесного, божественного, что всякие приказания Сократа должны быть, конечно, исполняемы, как веления божества...»

– Ик!.. Но он пересаливает, клянусь Геркулесом... Ик... Красавица, скорее лохань!..

«...Сократа можно восхвалять за много других в высшей степени удивительных свойств, но что в нем совсем необыкновенно, это, что он ни на кого не похож...»

– А! Но ты сам же говорил, что он похож на Марсия?..

Алкивиад, смеясь, отмахнулся и продолжал опять:

«Да, он может быть предметом сравнения только такого, на которое я указал, потому что, действительно, он и его речи сильно напоминают силенов и сатиров...»

– А ты разве часто с ними беседовал? Ик... И ты повторяешься. Это злоупотребление моим терпением... Довольно!.. Ик...

– ...Когда слушаешь Сократа, то сперва речь его кажется смешною...

– Действительно: гы-гы-гы...

– ...его выражения грубыми. Он всегда говорит о медниках, о кожевниках и прочем. Так что вполне возможно, что человек недалекий и недостаточно проницательный...

– Я достаточно далек и весьма проницателен... Ик... Лохань, лохань!..

– ...станет смеяться над его речью. Но если углубиться в их смысл...

– Как хочешь. А я лучше выпью!..

– ...то мы найдем, что они представляют уму бесчисленное множество совершеннейших образов, указывают ему высокие цели...

– Уффф... У тебя совсем нет стыда, Алкивиад!..

– Вот за что прославляю я, друзья мои, Сократа!..

– И отлично делаешь!.. Ик... Но он, друзья, кончил-таки. Это большое счастье... Да здравствует Алкивиад!..

Все смеялось. Алкивиад – первым. Он поблистал немножко и был доволен.

Но болтовня решительно надоела. Хиосское свое дело делало. И по знаку Фарсагора в покой вошел черный как смоль, опаленный сиракузец с хитрыми глазками и, низко склонившись перед хозяином и гостями, осклабился белой улыбкой среди черной бороды:

– Разрешить приступить, добрейший и благороднейший Фарсагор?

Тот молча наклонил голову и в сияющий огнями покой вбежали с улыбкой хорошенькая флейтистка-танцовщица и не менее хорошенький мальчик, знаменитый игрок на кифаре и плясун. Гости встретили их веселыми кликами и девушка, гибкая, как тростинка, сияя улыбкой, сперва показала под звон кифары, как она жонглирует двенадцатью обручами, а затем начала знаменитую пляску с мечами. Сиракузец нетерпеливо кусал губы: мало обращая внимания на его труды, гости уже снова затрепали языками вокруг подгулявшего Сократа. Он и в сильном хмелю головы не терял, и это было предметом гордости для его Ксантиппы. «Клянусь Дионисом, моего никакое вино не берет!» – говорила она, довольная, соседкам. И наконец сиракузец не выдержал:

– Если не ошибаюсь, – раздраженно обратился он к заводчику разговоров, – ты известный мыслитель Сократ?

– Да... – отвечал тот, поймав нотку раздражения. – А разве было бы лучше, если бы я был известный дурак?

Все дружно захохотали – до сиракузца включительно.

– Нет, конечно, – блестя белыми зубами, сказал он. – Но разве мои артисты не стоят, чтобы из-за них... помолчали немножко?..

Но среди рабов произошла почтительная суeta и в покой, высоко неся свою прекрасную голову, вошел Периклес. Все встали и сияющий – это была великая честь – Фарсагор сам распорядился и омовением ног, и удобным положением ложа для высокого гостя и очень искусно поместил его между пленительной Сирой и ослепительной Дрозис: Периклес был известным поклонником прекрасного. Алкивиад смеющимися глазами следил за тающим поэтом и шепотом говорил что-то смешное в розовое ушко Дрозис. Она вдруг звонко расхохоталась, хотела было повторить шутку Алкивиада для всех, но смех душил ее, и она уронила фиал на пол. И только артисты возобновили было свои представления, как Феник почтительно приблизился к Фарсагору и сказал ему что-то на ухо. На лице того выразилась досада, и он сказал Периклесу:

– За тобой прибыл гонец, Периклес: пришли какие-то важные новости...

Периклес сейчас же поднялся.

– Видишь сам, как трудно мне вырваться... – сказал он Фарсагору и, отдав общий поклон, величественный, вышел в сопровождении хозяина.

Гонец в пыли ждал его у выхода.

– В чем дело? – ответив на его приветствие, спросил Периклес.

– Фиванцы неожиданно напали на Платею и заняли ее, Периклес...

– Не говори об этом пока ничего твоим милым гостям... – сказал Периклес Фарсагору. – Пусть веселятся. Но это, кажется, война...

И, сделав с улыбкой еще раз прощальный знак рукой, он вместе с гонцом скрылся в темноте. Раб с раскрашенным фонарем в руках освещал для него путь. В некотором отдалении следовала за ним охрана...

V. Большая игра

Идти Периклему было недалеко: как и Фарсагор, как и все богатые люди, он жил в новой, более удобной части квартала Керамейкос, за речкой Эриданом, где было и просторнее, и больше зелени. Но этих нескольких кварталов было достаточно, чтобы за это время Периклес мог еще и еще раз привычно оглядеть ту шахматную игру, которую он вел в Афинах вот уже столько лет.

Война близко, это совершенно ясно. Ясно, что за Фивами стоит Спарта. К этому времени власть над Элладой разделилась так: на суше господствовала суровая Спарта, на морях царили Афины, хотя с многочисленными пиратами они справиться и не могли. Афинский флот каждый год выходил в море, чтобы показать всем морскую мощь республики, и всякий раз после такого плавания число «друзей» у Афин увеличивалось. И сухопутные силы Аттики были солидны: она могла выставить в поле до 13 000 гоплитов, не считая гарнизонов в крепостях в 1600 человек. Кавалерии было 1200 человек, а кроме того, было 1600 конных лучников. Это было кое-что, а так как в Афинах жили еще люди, выдавшие и Марафон, и Саламин, то можно было надеяться и на дух республики, как ни пошатнулся он после персидских войн. В казне Афины Партенос да и других богов было собрано немало сокровищ, и союзники Афин усердно пополняли казну республики. Нет, играть было можно, тем более что стены, соединявшие Афины с гаванью Пиреем, заканчивались и теперь, при господстве на морях, никакая осада городу и республике не была уже страшна.

И мысль Периклеса перескочила в те уже далекие годы, когда он совсем еще молодым человеком вступал на поприще общественной деятельности, которая – его сердце гордо забилося – дала такие блестящие результаты. Разве можно сравнить Афины того времени с теперешними? И все это сделал главным образом он.

...Живо встали в памяти его первые шаги на арене жизни, в те дни, когда, сменив честного и строгого Аристиды, всеми делами республики ведал пламенный и одаренный Кимон. Он совершенно иначе понимал задачи времени, чем Периклес, но ему все же нельзя не отдать дани справедливости. Прежде всего это был мужественный человек, знавший агору, и суровый воин, который не останавливался ни перед чем. Его осада крепости Эйон во Фракии кончилась тем, что командир крепости перед сдачей зарезал жену, детей, весь гарем, рабов, побросал золото и серебро в море, сам зажег свой погребальный костер и бросился в пламя... А этот орлиный налет Кимона на остров Скирос, опасное гнездо пиратов? Он покорил остров, с великим трудом отыскал могилу Тезея и с великим торжеством перевез его прах в Афины. Острословы на ушко шептали, что, может быть, кости и не Тезея, но одобряли Кимона: это поддало жару афинянам. Затем усмирение целого ряда возмечтавших было о себе островов, приведение их снова под высокую руку афинскую и, как венец всего, изгнание персов из всех крепостей, которые они занимали еще во Фракии, освобождение от них почти всего побережья Малой Азии – еще небывалое возвышение Афин, главы так называемой Делосской федерации...

Какое время и какие люди!..

Тем временем в Спарте Павзаний, победитель при Платее, делает попытку заменить власть царей властью эфоров. Но когда, открытый, он искал убежища в храме, именно эфоры завалили двери храма камнями и холодом принудили героя к сдаче: Спарта пожертвовала им ради поддержания добрых отношений с могущественными Афинами. В этом деле запутался тогда и Фемистокл, который бежал из Аргоса в Сицилию, а потом – там его не приняли – в Эфес и в Сузы, где он и предложил свои услуги персидскому царю для вторжения в Элладу. Он жил там в великом почете, засыпанный золотом. И – умер... Да, это было уже двадцать лет назад, когда все ярче и ярче стала разгораться звезда его, Периклеса. Он должен был по пути к почестям и власти перешагнуть и через кровь: Эфиальд, вождь демократии, был убит агентом

одного из тех многочисленных тайных обществ, которые работали над установлением олигархии на месте утопающей в болтовне демократии, в предположении, что олигархия будет лучше. И к власти над демократией пришел он, представитель одного из знатнейших родов Аттики, Алкмеонидов, из которого был и Алкивиад. Учителями Периклеса были философ Анаксагор из Клазомены и музыкант Дамонид. Потом злые дураки болтали, что это Дамонид подсказал мысль платить гражданам за их политическую деятельность, то есть как бы подкупить народ из его же собственных средств...

Как и его приятель Фукидит, он мало верил в бредни народной религии, хотя и не показывал этого: народ не терпел вольнодумцев. Его политические противники выдвинули против него его дружбу с такими скептиками, как Дамонид и Анаксагор. Дамонид был подвергнут ostracism, то есть изгнанию из Афин, а Анаксагор приговорен к смерти, и большого труда стоило Периклесу дать учителю возможность бежать в Лампсак, на Геллеспонте. И, споро шагая в трепетном свете факела по красивейшей улице Афин, Дромосу, он усмехнулся: в это время в Афинах, в городе-светоче, изучение астрономии было запрещено демократией вот уже почти полвека!..

Двойными Воротами он с Дромоса вышел в Керамейкос, прошел мимо тихих могил Гармония и Аристогитона, тираноубийц, мимо древнего жертвенника Афине, окруженного двенадцатью старыми оливками, и вышел в тот дивный парк с вековыми деревьями-гигантами, который составлял одну из главных красот города. Этим Афины были обязаны больше всего Кимону, но и он приложил немало усилий, чтобы дело это развить и поддержать...

Окрепнув у власти, Периклес никогда – опять чувство невольной гордости наполнило его грудь – не льстил народу, но всегда старался говорить ему правду. О нем говорили, что военный он был плохой. Древние греческие общины не знали разделения сословий военного и гражданского. Все владели оружием и каждую минуту должны были выступить против врага. Поэтому в воспитании юношества гимнастика и стояла на первом месте, как музыка и танцы, тоже предметы весьма важные, которые служили для религиозных празднеств. У него, говорили злые языки, военной жилки не было, но мужество и готовность идти до конца были всегда...

Да, много всего было пережито и немало сделано. Он оглянулся на свой Акрополь, который сиял в лунно-дымном сумраке над спящим городом, как серебряный: этот «высокий город», кремль, был, как казалось Периклесу, лучшим символом всего, что было достигнуто в великих трудах. Но сколько еще остается сделать!.. – подумал он, как думают все реформаторы, в самообольщении своем не видящие, что деятельность их – это бочка Данаид, которую никогда наполнить нельзя.

Особенно беспокоил его теперь вопрос об иноземцах – так назывались в Афинах греки хотя бы из соседних городов, – и рабах. На пятьсот пятьдесят тысяч населения города и Аттики полноправных граждан было всего двадцать тысяч, и многие почтенные люди находили, что и это чрезмерно. Ничего удивительного в этом со стороны почтенных людей не было: чем меньше лиц участвуют в дележе казенного пирога, тем доля каждого больше. Вот недавно царь ливийский Псамметих, чтобы выразить Афинам свое особое почтение, – и в то же время завоевать афинский рынок, – прислал в дар республике большое количество пшеницы. И граждане на Пниксе решили, что на раздел хлеба имеют право только коренные граждане Афин, просмотрели списки их и – вычеркнули из них пять тысяч беднейших, то есть тех, кому дар ливийского царя был бы особенно полезен. Эта игра слишком опасна, а еще более опасно страшное численное превосходство в городе рабов и метеков... Правда, Спарта в этом отношении значительно опережала Афины, но что неразумно, то неразумно везде.

И не раз и не два тревожила его в ночи разница между шустрым, бойким горожанином и крестьянством: об этом Акрополе будут говорить тысячелетия, а крестьянин – дикарь. Для горожан на общенародные средства он только что выстроил Одеон, пышное здание для музыкальных празднеств, а мужик живет на века сзади. В теории он имеет полное право на участие

в делах общественных – представительства республики Эллады не знали, а все дела государственные решались народом непосредственно, – но за дальностью расстояния от деревни до Пникса крестьянин этими правами пользоваться не мог. Поэтому всеми делами республики вертели горожане – часто в ущерб мужику.

И, может быть, самое важное и самое тайное, что грызло его, это опасение охлократии, власти толпы невежд, которая вертела в городе всем, отдавая свои симпатии первому горлопану понаглее. Часто в один и тот же день Пникс не раз менял свои мнения: что перед народным собранием толпа порицала, за то на собрании она голосовала, а разойдясь, порицала тех, за кого голосовала и – себя. Его приятель Сократ не раз говаривал: «Никто не взялся бы быть кормчим, не зная моря и управления кораблем, а за управление государством берутся все, как будто это было легче». И о выборах он говорил неплохо: «Разве мы голосованием выбираем кормчего, флейтиста, архитектора? А ведь ошибки, которые они могут сделать, совершенно ничтожны в сравнении с ошибками государственных людей». И раз, когда Хармидес, знатный и богатый юноша, стремившийся к общественной работе, обнаружил боязнь перед публичным выступлением, Сократ сказал ему: «Неужели же ты боишься выступить перед кожевниками, плотниками, кузнецами, матросами и рыночными торговцами? А ведь только из них и состоит народное собрание». И вот кожевники и матросы вертели всем и, боясь «тирана», сами становились несноснейшими тиранами.

Много забот причинял ему теперь и вопрос о колонизации. Греки в этом отношении следовали за финикиянами, но они строили не торговые конторы, а целые города, от отдаленнейших берегов Эвксинского Понта – уже века существовали там греческие колонии – до почти Геркулесовых Столпов. Страсть к приключениям, излишек населения, сосредоточение земель в руках аристократии, общественные раздоры, какое-нибудь бедствие, остракизм, иностранное нашествие, необходимость отыскивать внешние рынки – все это толкало и афинян на этот путь. Первоначально это были частные предприятия. Город-мать доставлял своему рою только священный огонь для очага нового города и жреца, который должен был выполнить священные церемонии при его основании. И нужно было облегчить положение бедняков, и освободить город от беспокойной толпы, и дать место кормления какому-нибудь обедневшему, но благородному роду, а теперь, на Стримоне, под Потидеей, дело шло о свободных проливах к Понту Эвксинскому, о том, чтобы не давать Фракии слишком там усилиться и о монополии Афин на тамошние лесные богатства и прииски...

И он смело подвел итог: не толпа агоры, не опасная олигархия, а он, только он, Периклес, может вести эту сложную и нелегкую игру. Но в этом итоге он не хотел сознаться и самому себе.

Грудь отрадно дышала свежим запахом листвы и фиалок, ухо чутко слушало плеск и бульканье фонтанов, а дума шла. И наряду с хозяйственными думами в последнее время все чаще и чаще приходили в голову совсем новые мысли, которых он раньше совсем не знал. Иногда ему начинало казаться, что достигнуто совсем не так уж много. Не так давно Аристофан зло бросил в театре ядовитые слова:

...Да, без сомненья,
Афины великий и счастливый город, где всякий
Свободен... платить свои налоги...

И эти странные стихи, которые пришли ему на память недавно, во время болезни, и которые с тех пор не покидают его:

Он был мне врагом. Жалею его,
Ибо все мы, я вижу, только тени...

И Аспазия не могла тогда вспомнить, откуда эти стихи, хотя и она знала их...

Вечная грызня городков-государств Эллады – за которую теперь скрывалась только борьба Афин со Спартой за гегемонию – привела к заключению тридцатилетнего мира. Но не успели делегаты двух великих и благородных народов подписать его, как сразу же возникли затруднения: по этому договору Эгина, островок-государство, член Пелопоннесской Лиги, то есть союзник Спарты, при условии уплаты дани Афинам пользовалась автономией. Но недавно Афины вынуждены были отказать эгинцам в праве ввозить нужную им шерсть из Мегары, отношения которой с Афинами были нехороши. Все возмутились. Афины выразили готовность отдать дело на рассмотрение третейского суда, как это было обусловлено мирным договором. Но тут вспыхнуло дело с Потидеей. До этого Афины с Коринфом в войне не были, но теперь война вспыхнула и грозила разгореться. Архидам, спартанский царь, был очень осторожен, но военная партия победила и спартанцы послали к дельфийскому оракулу спросить: не будет ли лучше для них начать войну? Аполлон отвечал: если Спарта вложит в войну всю свою силу, войну она выиграет, а он, Аполлон, будет помогать им, даже если они и не воззовут к нему... Спарта подняла голову и заявила, что она со своими союзниками борется за свободу Эллады против города, который становится тираном, то есть против Афин. Пришло оттуда посольство: Афины должны изгнать всех Алкмеонидов – дерзость чрезвычайная, ибо Алкмеонидом был сам Периклес. Новое посольство: снять осаду Потидеи, восстановить полностью автономию Эгины, отменить декрет о Мегаре: «Тогда войны не будет».

И вот вдруг теперь это внезапное нападение на Платею со стороны фиванцев, союзников Спарты.

– Как это было? – спросил Периклес гонца.

– Сторонники Фив открыли в ночи городские ворота им... – сказал гонец. – Город был разбужен криками герольда, который требовал присоединения города к единой и неделимой Беотии. Сперва с испугу платейцы затаились, но, убедившись, что в стены вошел только ничтожный отряд, они на рассвете, под дождем напали на фиванских гоплитов. Даже женщины вступили в бой и осыпали фиванцев черепицей с кровель. И прогнали, и успели взять пленных, которых держат теперь заложниками...

Не успел Периклес вступить в свой освещенный дом, как его обступили начальствующие лица.

– Пока все, что мы можем сделать, это схватить всех беотийцев, которые находятся в Афинах и Аттике, – сказал он решительно. – А в Платею послать сейчас же герольда, чтобы платейцы берегли взятых ими заложников накрепко. Разговор у нас с Фивами будет, по-видимому, долгий...

Он скоро отпустил начальствующих лиц: прежде всего надо было сосредоточиться и разобраться в положении.

К нему тихо вошла Аспазия.

– Я понимаю, что тебе сейчас не до пустяков, – сказала она, – но я все же думаю, что я должна тебя предупредить об одном... Да нет, это и не пустяки... У меня была сейчас... Ну, словом, вчера Дрозис пиновала со своими поклонниками и, напившись, будто бы кричала с хохотом, что Фидиас подарил ей много золота...

Периклес, не понимая важности этого сообщения, смотрел на нее, как спросонья: он был занят своим.

– Ну, так в чем же дело? – рассеянно спросил он и только тогда уже понял, что говорила Аспазия. – Ах, да!.. Ну, ты афинянин знаешь: без грязной болтовни они жить не могут... Не надо говорить об этом никому, а если будут болтать другие, остановить: наболтала спьяну – и все... А теперь иди и спи: мне надо подумать... Да: а как Периклес?

Так звали его маленького сына от Аспазии, прелестного мальчугана.

– Гиппократ говорит, что надо подождать до завтра... – сказала Аспазия. – Жар как будто спадает... И пропотел хорошо...

– Ну, и хвала богам! Иди, отдохни...

С поцелуем в ее прекрасный лоб он отпустил свою подругу...

VI. На Агоре

С раннего утра Афины закипели бранными приготовлениями. Над Пниксом⁹ развевался флаг – значит, шло собрание афинских граждан. Зло волновалась и шумела агора. По всему городу началась возбужденная беготня и на углах собирались кучки возмущенных неслыханной дерзостью фивян граждан афинских, но они тотчас же и рассеивались: все спешили на агору.

Дорион, хмурый, сидел на земле, у толстого ствола раскидистого платана и смотрел в кипящую перед ним экклезию¹⁰. Пред ним стояла красивая, с детства родная картина: крутой каменный утес ареопага, на котором помещался самый священный трибунал Афин и происхождение которого терялось во мгле веков. Говорили, что он был основан самой Афиной. Он состоял из бывших архонтов, которые отличались – понятно, наружно – особенно примерной жизнью. Утес этот – его звали «проклятым холмом» – был посвящен подземным богам и под ним жили эриннии, богини, наблюдавшие за гармонией как в физическом, так и в моральном мире. Тут запрещалось обращаться к состраданию судей или блистать красноречием: только сухие факты. С одной стороны – каменной волной взмывал Акрополь, с другой – Холм Нимф, на котором теперь кипело собрание граждан, Пникс. К северу виднелся Тезейон, а на северо-запад шла дорога в тихий Колон. На агоре – она была со всех сторон окружена колоннадой – посередине стоял алтарь двенадцати великим богам и десять статуй – родоначальников десяти колен Аттики. Тут же были и все суды и правительственные учреждения. Неподалеку виднелся храм Афродиты Пандемосской, около которого всегда держались хорошенькие танцовщицы и флейтистки, ожидая найма на пир какого-нибудь богача. Над головами беспокойной толпы высилась пока немая трибуна, с которой герольды оповещали граждан о чем нужно. Несмотря на тревожное утро, торговля шла бойко. Торговцы располагались в известном порядке: были ряды рыбные, сырные, горшечные, винные и пр. Торговали тут и женскими париками, и шелковыми тканями Коса, и полотном Тарента, и шерстью Сиракуз. Настоящих магазинов было мало – торговцы помещались больше в палатках или шалашах из камыша. Тут же, на краю торгового рынка, помещался и рынок труда, где часами, а то и днями ожидали найма безработные. И афиняне орали, клялись, обманывали, ругались, а строгие агораносы, полицейские, блюли порядок. Торговцы, которые не подчинялись им, блюстителям закона, если они были рабы – торговля и промышленность находились главным образом в руках метеков и рабов, – были биты плетью, а если гражданами, то их ждал штраф. Местами виднелись «трапезы», то есть лавочки банкиров и менял, в которых была великая нужда, так как в монетном деле в Элладе был великий беспорядок: каждый город выпускал свою монету, разновесную, разноценную. В последнее время, с возвышением Афин, однако, побеждали все более и более афинские «совы», благодаря точности чеканки и авторитету Афин. Много было и торговцев в развоз, немало и иностранцев: Афины потребляли свое вино и масло, но рыба и мука шли из южной Скифии, финики из Финикии, сыры из Сицилии, сандалии из Персии, постели из Милезии, подушки из Карфагена. Много было вокруг агоры и цирюлен, которые одновременно служили и клубами: кабаков еще не было – разве уж для самых подонков только.

Государство и тогда уже всячески вмешивалось в дела торговые и стремилось в них что-то упорядочить, внести какую-то «плановость». Оно то запрещало купцам плавать по Геллеспонту, то в Ионию; то не иметь дел с соседней Мегарой. Запрещалось давать деньги под залог корабля или его груза, если владелец не давал обещания вернуться в Пирей с грузом зернового хлеба или другого товара. Чтобы противодействовать вздутию цен скупщиками хлеба, закон

⁹ Пникс – небольшой каменистый холм в центре Афин, возле Акрополя.

¹⁰ Народное собрание в это время. Потом этим термином стало называться собрание христиан, церковь.

устанавливал количество его, которое могло купить отдельное лицо. Словом, и тогда няни от правительства всячески трудились над вверенным им ребенком, едва ли на пользу ребенка, но, наверное, к изрядному прибытку нянь – как всегда и везде. Ссудами занимались не только «трапезиоты», но и боги, которые давали торговцам займы из своих сокровищниц из 6—10 %, но, как правило, боги предпочитали вести дела с государством.

Богатые женщины никогда не ходили сюда для покупок и не пускали сюда и своих слуганок: это было делом мужа, который в сопровождении раба и закупал все, что было нужно для дома. Нередко можно было видеть тут воина в полном вооружении, который покупал фиговые или сардины, или кавалерийского офицера, который нес вареные овощи в своей блистательной каске. Гомон пестрой толпы, резкие крики погонщиков мулов или ослов, крепкая ругань, весьма присоленная знаменитой аттической солью, всевозможные запахи, толкотня, пыль, духота, – все это делало агору местом малопривлекательным, но именно тут подготавливалось все, что потом волновало Пникс и превращалось иногда в закон – более или менее стеснительный.

Эврипид считал средний класс самым надежным для государства: богачи – бездельники, говорил он, а чернь, толпа это только всегда готовое войско против этих богачей, для бунта. Но Дорион, как почти и все близкие Сократу люди, боязливо думал, что едва ли и среднее сословие может тут что-то сделать. Народное собрание было доступно всем, начиная с двадцатилетних мальчишек. Чтобы ходили бедняки, чтобы власть не могли захватить богачи, бедным гражданам сперва за эти труды платили по оболу, а потом и по три (двенадцать копеек золотом). Иногда в столкновении мнений, из которого по мнению глупцов рождается истина, доходили до потасовки, и тогда стражники уносили безобразников на руках вон. Толпа эта думала, что она владыка всему, но на деле над нею владычествовали всякие проходимцы, которые дурачили ее как только хотели. Эти демократические куртизаны скоро надоедали ей, и она искала новых забавников. Народ играл законом, как дети мячом: сегодня принимал, а завтра уничтожал. Среди этих маленьких и глупых тиранов только и разговоров было, что о тиране большом. Тирания стала тут ходячим товаром, который на торговом месте встречался чаще соленой рыбы из устьев Борисфена¹¹. И старый обычай требовал, чтобы вся эта ложь, весь этот обман подавался в достойном виде: всякий говоривший к народу на агоре или на Пниксе прежде всего украшал себя, как на празднике, миртовым венком. И самое жуткое, в конце концов, во всем этом было, что это малоблагоуханное пестрое сборище горластых и темных людей было действительно владыкой жизни – не только тут, в народной республике, но даже и при тиранах, ибо, в конце концов, от него зависели даже и тираны. То, что толпами этими «управляют» Периклеса или державный ареопаг, только оптический обман: правда как раз в обратном.

Неподалеку, около цирюльни, взорвался грубый смех. Дорион прислушался: то несколько афинян спорили о женской воле: Аристофан в шутку пустил эту тему в оборот.

– Если женщинам дать право веты для того, чтобы дела наши шли лучше, то, конечно, это вздор! – занозисто кричал какой-то, видимо, привычный к толпе оратор. – А если для того, чтобы они шли так же плохо, а то и хуже, то, конечно, лучшего средства и не придумаешь...

Опять раздался взрыв грубого хохота: смеялись над собой и не понимали этого и гордились тем, что вот они, мужчины, владыки агоры, которые ворочают огромными делами... Дорион встал, брезгливо сморщившись, и пошел к Пниксу. Но сейчас же остановился: среди толпы торговцев горячо схватились спорить довольно известный своим луженым горлом Клеон и самый крупный промышленник Афин – Кефалус, у которого было занято в производстве щитов до 120 рабов. Клеон, как всегда, кричал с необыкновенным жаром, как будто вся Аттика была в огне, – Кефалус, испуганный таким напором, только руками отмахивался: «Да отстань!.. Да что ты привязался?.. Нужно воевать – вой!.. Я-то тут при чем?..» Толпа явно была на

¹¹ Днепра.

стороне Клеона, ибо он кричал очень сильно. Дорион не стал слушать и продолжал путь среди духовитой и орущей толпы. Сзади него шли какие-то два средних лет афинянина, которые с заговорщицким видом переговаривались о чем-то.

– Да что такое этот их Периклес?.. – говорил один досадливо. – Периклес думает не о народе, а о своих делишках. Я из верного источника знаю, что и войну-то со Спартой он затевает, чтобы потушить дело о хищениях на Акрополе, на постройках. Сперва в дело влип Фидиас – он ради этой проклятой Дрозис отца родного убьет... – а потом запутался и сам Периклес. Вот и хочется обойти народ. Все они одинаковы, аристократишки эти. Нам нужны такие люди, как Клеон, свои...

– Ну и своим тоже пальца в рот не клади!.. – раздумчиво проговорил его собеседник, скребя в голове, под островерхим пилосом¹².

В горячем воздухе агоры чувствовалось великое напряжение. Все ждали начала энергичных военных действий. Многие эфебы¹³, чтобы поразить воображение прекрасных афинянок, уже надели красные хитоны воина и книмиды, обувь, защищающую голени. Старые гопплиты с этим не торопились: умереть никогда не поздно.

И Дорион думал на тяжелую тему о порабощении человека государством. Он был собственностью государства. Если государство нуждалось, оно могло приказать женщинам отдать ему их драгоценности, взять у них хлеб, масло, имущество, жизнь – все. Спарта устанавливала прически для женщин, а Афины запрещали своим гражданкам брать в путешествие больше трех платьев. В Родосе запрещали брить бороду, а в Византии платил штраф всякий, у кого находили бритву. В Спарте требовалось, чтобы мужчина брил усы. Спарта требовала убийства неудачных детей, а Платон и Аристотель потом включили этот закон в свод своего идеального государства. Эфоры наложили штраф на царя Архидама за то, что он женился на женщине маленького роста: «Она будет рожать не царей, а царьков». В Спарте при получении вести о сражении матери убитых шли радостно в храмы благодарить богов, а матери уцелевших плакали. В великих богов с известной осторожностью можно было и не очень верить, но усомниться в Афине Палладе или Кекропсе было преступлением. Государство могло изгнать Аристида только за то, что он своими добродетелями был демократии «опасен». Они то и дело кричали о какой-то свободе, но они не имели о ней никакого понятия. Они называли свободой право избирать голосованием должностных лиц и возможность попасть когда-нибудь, при удаче, в архонты.

– А вот рыбка хороша!.. – раздался рядом с ним резкий голос. – Солененькая рыбка!.. Покупайте рыбку с Понта, граждане...

Над Пниксом флаг вдруг спустили: собрание граждан кончилось. Все насторожилось: чем-то порешили? И, как огонь по сухой траве, побежала молва: война, война!..

В небольшом отдалении от Дориона, среди густой толпы, двигался Сократ. За ним, как всегда, шли два его неизменных спутника, чудной Аполлодор, посмешище всего города, и худой, «наполовину мертвый», как острили афиняне, Херефон, тот самый, который принес из Дельф заявление Аполлона, что Сократ мудрейший из людей. Дорион не без недоумения смотрел на Сократа. Он не понимал его. Сократ часто пускал острые словечки о неблагопо-

¹² Войлочная шляпа.

¹³ Всякий молодой человек из полноправных граждан с 18 лет вносился в гражданские списки и вступал на два года в корпорацию эфебов. Только бедняки освобождались от этого. Кроме космета, начальника эфебии, там были учителя гимнастики, педотрибы, обучавшие борьбе и бегу – чтобы затруднить бег, нарочно насыпали песок, – прыжкам, метанию дротика и диска, гоппломах учил фехтованию, афет – обхождению с метательными машинами, то есть артиллерией того времени, токсот – стрельбе из лука. Перед началом занятий эфебы приносили торжественную клятву в храме Аглавры всегда твердо соблюдать долг воинский. В эту эпоху им стали преподавать также рисование, геометрию, географию, риторику. Астрономия и философия преподавались с особой осторожностью: как бы грехом не задеть великих богов. Но вообще говоря, молодые воины всем этим премудростям предпочитали – как всюду и везде – общество веселых флейтисток и игру в кости в тайных притонах. Изучали с полной добросовестностью также и вина, как свои, так и иноземные.

лучно царствующей в Афинах демократии, но с другой стороны он настойчиво проповедовал, чтобы каждый гражданин обязательно нес какую-нибудь государственную службу, то есть был бы у этой демократии на побегушках, он говорил о необходимости господства в жизни разума и знания и верил в оракулы, приметы и жертвоприношения и от всех требовал признания национальных богов Эллады, то он утверждал, что лучше терпеть страдания, чем причинять их, то учил гетеру Феодоту искусству нравиться. Дорион был молод и потому требователен. И вообще, думал он хмуро среди водоворотов агоры, все эти так называемые философы – самые вредные для человечества люди: они занимают его ум праздными вопросами, которых сами разрешить не могут. Вчера на берегу Илиссоса Антисфен говорил об орфиках и Пифагоре, который учил, что справедливость состоит в равном и одинаковом отношении ко всем и во всех случаях, что она подобна квадрату, в котором все стороны равны и перпендикулярны. Ведь это совершенно пустые и совершенно ни на что не нужные слова.

– А вот рыбка хороша!.. – раздался вдруг за его спиной резкий, визгливый голос. – Вот солёная рыбка! Покупайте рыбку с Понта, граждане...

Над беспокойным морем голов поднялся вдруг на биму¹⁴ герольд. Возбужденный гомон агоры сразу притих – и все жадно устремилось ближе к биме.

– Граждане афинские, – провозгласил тот сильным, далеко слышным голосом. – Народ афинский только что постановил: немедленно поднять войско для предстоящей войны со Спартой и ее союзниками. Приступите немедленно к нужным приготовлениям. В Платею сейчас же отходят наши гоплиты, чтобы восстановить в городе наши права и покарать презренных фивян, за которыми прячется Спарта...

Бурно загудела агора. Все были возмущены коварным поведением зарвавшихся фивян, все были готовы дать им суровый отпор.

– Они на Спарту не посмотрят: ха, ты видал, сколько триер собралось в Пирее и как идет работа на верфях?! Периклес – он свое дело знает тонко!..

– Сейчас вывесят, должно быть, и списки призываемых...

– Что? Или живот сразу заболел?

– Клянусь Ареем, сам не сдрейфи смотри, а на других не гляди...

– А вот сандалии хороши!.. – надрылся какой-то торгошник с жадными глазами. – Сто лет носить будете...

Хорошенькая флейтистка обожгла Дориона горячим, лукавым взглядом, обольстительно улыбнулась, но он направился к кучке зевак, которые жадно, как всегда, несмотря даже на остроту момента, слушали Сократа, перед которым не без смущения стоял молодой Эвтидем.

– Так вот... – проговорил Сократ, склоняясь к теплой, пахучей пыли. – Здесь мы напишем альфу, а здесь – дельту, и все, что справедливо, мы поместим под дельту, а что несправедливо – под альфу...

– Хорошо... – сказал Эвтидем, борясь со своим смущением.

– Ну, сделано. Теперь скажи: существует ли на земле ложь?

– Конечно!..

– Под какую же букву поместить нам ее?

– Под альфу, несомненно...

– А обман существует?

– Да.

– Куда же его поместить?

– Туда же.

– А куда мы отнесем такие поступки, как обращение людей в рабство? К справедливости?

– О, нет! Под альфу, конечно.

¹⁴ Бима – здесь: то же, что трибуна.

– Но скажи, – после минутного молчания проговорил Сократ. – Если полководец обратит в рабство нечестивый неприятельский народ, будет ли это поступком несправедливым? Не назовем ли мы его скорее справедливым?

– Конечно.

– А если в военное время он станет обманывать врагов, справедливо это или нет?

– Без сомнения, справедливо.

– А если он увезет их имущество?

– Тоже справедливо. Но я думал, что ты имеешь в виду только наши отношения к друзьям.

– А, значит, ты согласен, что, размещая эти поступки под разные буквы, мы должны еще руководиться соображениями, что для врагов они будут справедливы, а для друзей несправедливы и что по отношению к друзьям нам надо быть возможно прямее.

– Без сомнения...

– Хорошо. А если полководец, заметив в армии признаки малодушия, вздумает обмануть ее ложным известием о скором прибытии подкреплений, и тем возратить ей мужество, будет ли это справедливо?

– Думаю, что да...

– А если отец, когда его сын болен, подаст ему горькую микстуру под видом вина и тем возвратит ему здоровье, справедливо это или нет?

– Это я записал бы под дельту.

– А если кто видит своего друга в отчаянии и, боясь с его стороны безрассудного поступка, украдет у него меч, будет ли это справедливо?

– А вот маслины хороши!.. – запел вдруг отчаянной фистулой оборванный мальчишка. – Вот маслины аттические... Покупайте маслины!..

И подумалось Дориону, что, может быть, было лучше уйти с хорошенькой флейтисткой в заросли олеандров: тягостны и тесны для него эти бесполезные слова!..

И вдруг раздался мерный, тяжелый шаг и грубый, мужественный хор. Все бросилось к улице, чтобы видеть гоплитов, которые уже выступили к Платее... Воинственность афинян поднялась еще выше. Но и в те простые времена сложна была душа человеческая: в то время как герольды сгоняли к Афинам селяков для вступления в войска, и те покорно, среди воплей близких, унылые, тащились к сборным пунктам, ловкие горожане бросились «устраиваться». Занимались набором таксиархи. Подслуживаясь «народу», они делали все, что было в их силах, чтобы освободить пацифистов. Аристофан говорил, что они вписывают в списки призывных тех, кого не следовало, и не вносили тех, кому идти было нужно. Для того, чтобы подвеселить воинов, правительство платило им от четырех до шести оболов в сутки, и жизнь воинская так и называлась «жизнью на четыре обола». Это по тогдашним временам было неплохо: на два обола в день человек холостой мог жить без нужды. Офицеры получали вдвое против гоплита, а генерал – вчетверо¹⁵. Если принять во внимание, что простолюдины присутствовали на пышных торжествах, бегах колесниц, скачках, гонках судов, концертах, в театрах совершенно бесплатно, что часто в такие дни богачи к тому же даром кормили его, то надо сказать, что жилось тогда эллинам недурно. Народ и тогда был в достаточной степени глуп и не понимал, что все эти зрелища, – гимназии с их палестрами, арены и ристалища, театральные пьесы и пр. – были прекрасным средством заставить его забыть не только о нестроениях и хищениях государства, но даже и о хлебе для детей... Платили им за все их труды поденно – даже архитек-

¹⁵ В том смятении валют, в котором разлагается теперь жизнь культурных народов, очень трудно перевести старую драхму на наши деньги, но очень приблизительно можно сказать, что она равнялась настоящему золотому франку. Но жизнь тогда стоила вообще много дешевле. Во времена Солона овца стоила, например, 1 драхму, бык 50 драхм. На драхму в сутки можно было скромно жить даже в столице. Но постепенно жизнь стала дорожать уже тогда и пелопоннесская война, например, весьма значительно подняла все цены: и тогда воинские упражнения были занятием весьма дорогим.

торы, строившие на Акрополе, получали поденно, в среднем одну драхму в сутки. Известные врачи, музыканты, актеры, софисты огребали куда больше: Протагор, Зенон, Горгий брали до 10 000 драхм с ученика, а Продик за обучение «человеколюбию и добродетели» довольствовался много меньшим. Отлично зарабатывали поэты вроде Пиндара или Симонида.

Оставив Сократа поучать агору мудрости, Дорион пошел было домой и сразу наткнулся на шествие роскошного демократа, оратора Гиперида, который с самодовольным выражением на жирном лице шел в окружении паразитов по направлению к Пританее. Он выгнал из дому сына Главкиппа, чтобы поселить у себя «благосклонную» Миррину, а кроме нее он содержал в Пирее Аристокору, а в имении под Элевзисом красавицу-фивянку Филу: он занимался общественными делами, а это и тогда уже было источником весьма крупных богатств.

С каждым часом улицы и площади афинские покрывались все гуще и гуще красными туниками воинов: славный час настал. Местами слышались торжественные пэаны¹⁶. В Акрополе вился дымок: то жрецы приносили великой Афине богатые жертвы за счастливый исход войны... Аспазия и многие другие дамы приказали своим рабыням выбросить их модные красные фиванские ботинки.

Божественный Алкивиад, хохоча, прошел куда-то со своими пышными приятелями. На нем тоже был уже красный хитон и блещущий шлем конника, но к Платее он не торопился: он был слишком известен своей храбростью, чтобы снизойти до доказательств этой храбрости, а кроме того, и Дрозис его захватила очень. Все провожали его глазами, в которых была и зависть, и невольное восхищение...

– А вот рыбка, соленькая рыбка с Понта!.. А вот фиги сушеные, сладкие... А вот притирания всякие: любую старицу краше Дрозис сделают – покупайте, граждане, не скупитесь!..

¹⁶ Пэан – хоровая лирическая песнь.

VII. «Великие бедствия»

Таким образом, так называемая Пентеконтеция, период между персидскими войнами и войной пелопоннесской, кончился: мирный договор, который так недавно, казалось, был заключен на тридцать лет, оказался простым клочком папируса или пергамента, как всегда оказываются такие договоры, когда одной из высоких договаривающихся сторон этот клочок начинает мешать и когда она, как ей кажется, достаточно сильна, чтобы сказать вслух этому клочку его настоящую цену...

Платейцы прогнали фивян и взяли заложников. Фивяне двинули на Платею главные силы, но платейцы пригрозили, что в случае нападения фивян на город они истребят заложников. Фивяне отступили, но платейцы заложников все же истребили. Из Афин прибыли спешно герольды с требованием заложников всячески беречь, но было уже поздно. Теперь нужно было ожидать нового нападения фивян, и афиняне перевели все население Платеи к себе, а в Платею поставили свой гарнизон.

Вся Эллада закипела бранными приготовлениями. Афины собрали не только тринадцать тысяч гоплитов – при каждом гоплите полагался оруженосец, – но снабдили гарнизоны и все пограничные крепости, как Элевзис, Этой, Панактон, Филы, Декелею и пр. Союзники Афин, вольные и невольные, разбросанные по всей Элладе, наружно готовились к войне, а тайно – к измене, как полагается. Но не дремали и противники славной республики во главе со Спартой. В центре Греции поднялась Беотия с союзниками, выставив десять тысяч гоплитов и тысячу кавалерии. Ее поддерживал северо-запад, где эллины жили еще в более или менее первобытном состоянии. Спарта усиленно строила триеры, но многие из гребцов, родом из Аттики, бросили службу в пелопоннесском флоте и ушли домой. Спарта послала послов за помощью к Великому Царю Персии. Совсем еще недавно, казалось, Спарта вместе с Афинами в страшном напряжении изгнали персов, наводнивших всю Элладу, – теперь оказывалось, что в союзе с персами нужно раздавить Афины. Персы отказались: им было выгоднее, чтобы греки уничтожили себя сами. Просила Спарта о помощи и богатые Сиракузы, коринфскую колонию в Сицилии, которая забирала все больше и больше силы, но надежды ее не оправдались. Само собою разумеется, что Спарта во всеуслышание объявила, что она борется за свободу всей Эллады, которой грозят Афины с их ненасытной жадой власти и золота, но в это красноречие верили только простаки: люди похитрее понимали втихомолочку, что это не лозунг, не идеал, а просто боевой клич, чтобы поджечь как следует свою доблестную армию и не менее доблестные армии союзников. Гоплиты, возблистав красными туниками и грозным вооружением, делали вид, что все это они очень тонко понимают и для свободы готовы постараться не щадя живота, и то и дело раздражались или торжественными пэанами, или же грозными воинскими песнями, в которых они стирали презренного врага в пыль...

Армия Спарты подошла уже к Перешейку, когда в Афины вдруг явился Мелезипп, посол Спарты, уже пожилой, решительный и сердитый человек. Спартанец смотрел в Афинах на все с плохо скрываемым презрением: суровые спартанцы – зачем напускали они на себя эту суровость, было непонятно, – презирали шумных афинян, в особенности за их исключительное пристрастие ко всякого рода болтовне, которая, действительно, становилась в Афинах настоящим национальным бедствием. Сказать, что спартанцы совсем уже не любили «говорить красиво», нельзя – их заслуга была только в том, что они старались делать это очень коротко, по возможности в одной резкой или едкой фразе. Так, когда раз послы Самоса явились к ним для переговоров и по дурной привычке начали с очень длинной и замысловатой речи, спартанцы сказали им: «Начало вашей речи мы забыли, а конца не поняли именно потому, что забыли начало». Афиняне, по мнению спартанцев, вертели языками даже тогда, когда им, в сущности, и сказать было нечего: простодушные спартанцы еще не догадывались, что в жизни это

весьма полезное искусство, которое потом, многие века спустя, с большой пользой применялось потомками Эллады на разных международных конференциях. Афиняне же презрительно косились на спартанцев за их грубость и язвили, что у них всем «правят женщины». Что женщина в Спарте пользовалась большим влиянием, чем в других местах Эллады, это было верно, но что там всем заправляли женщины, это было, понятно, шпилечкой – чтобы поддержать добрососедские отношения. Разница же основная между Афинами и Спартой была в том, что в то время как афиняне все начинали с разговоров, – как потом и многие другие великие демократии, – спартанцы начинали прямо с действия, как потом другие спартанцы – хотя бы с берегов Шпрэ.

Периклес, со своей обычной серьезностью и величавым достоинством, внимательно выслушал посла врагов и сказал:

– Достоинство афинского народа не позволяет ему разговаривать с противником под угрозой вторжения – сперва отведите ваши войска с Перешейка...

– Я не уполномочен принять такие условия... – отвечал суровый Мелезипп. – И я вижу, что этот день будет началом великих бедствий для эллинов...

Влюбленный зяблик со старого платана завил эти страшные слова серебром своей песенки, но ни Периклес, ни Мелезипп не поняли его, и посол Спарты с подобающими его высокому сану почестями был выпущен из кипевших приготовлениями к великим бедствиям Афин, а афинское правительство бросилось к жрецам и гадалцам: матика – то есть искусство гадания, предсказания – была тогда везде и всюду в великом почете. И жрецы и гадалки стали резать и потрошить милых животных, чтобы по их внутренностям узнать судьбу Афин. Другие вешали над огнем куриное яйцо, чтобы видеть, лопнет оно или будет только потеть. Третьи разбрасывали по полу зерна, в узорах которых они старались видеть те или иные буквы. Выходило хорошо и потому пэаны стали еще торжественнее, а воинские песни – еще грознее.

Спарта начала великие бедствия осадой крепости Эвноэ. Армия заворчала: нужно было сразу залить нашествием всю Аттику. Но спартанский царь – или, точнее, царек, ибо власти у него было на обол – Архидам ждал послов от Афин. Он был уверен, что умный Периклес одумается и на войну не пойдет: Архидам забыл о «достоинстве афинского народа». Но послов не было. Жители ближайших демов¹⁷ с имуществом сбегались за стены Афин, а скот их переправлялся на Евбею и на другие соседние острова. Все пространство между Длинными Стенами, соединявшими Афины с их гаванью Пиреем, превратилось в лагерь. Правительство вынуждено было отвести для беженцев даже храмы, даже Пелазгию, местность к северо-западу от Акрополя, которая по повелению древнего оракула для поселения должна была быть закрыта навсегда: когда говорит необходимость, боги и их оракулы могут и помолчать. И дурачки, сбившись в тесноте этих лагерей, радовались, следя за приготовлениями афинского флота в Пирее:

– Погоди, наши моряки им пропишут!.. – говорили они, поддавая себе и другим воинского жару. – Может, сам Периклес тряхнет стариной и поведет наши триеры...

– Вот мелет, болтун, клянусь Ареем!.. – возражал запальчиво другой. – Как может Периклес в такое время оставить дела государственные?.. Ясно, что моряков поведет Формион... Этот страх не знает...

– Чего там: первый вояка!..

Дети на жаре плакали, женщины, лишённые обычного домашнего уюта, ссорились из-за всякого пустяка, мужчины выпивали – в счет будущих благ: вот набьют морду спартанцам и заставят их за все заплатить. Чья-то отбившаяся худая кошка, жалобно мяукая, ходила туда и сюда по стене. Мальчишки кидали в нее камнями. Тягостно пахло испражнениями: ходить было некуда...

¹⁷ Дем – территориальный округ.

Послов от Афин все не было, и Архидам, сняв наконец осаду, двинул своих гоплитов к Элевзису и стал жечь зреющую уже пшеницу вокруг, а затем разбил свой стан вокруг Ахарней и стал ждать выхода афинского войска. Ахарнейцы, спрятавшиеся в Афинах, следили со стен за дымами, которые стояли в ясном и ласковом небе: то горели их гнезда. Афины все больше и больше закипали гневом, ораторы теряли силы в пламенных речах, – вперед, до последней капли чужой крови!.. – оракулы решительно толкали на выступление, но Периклес осторожно выжидал и в качестве главнокомандующего запретил, как это всегда в демократиях полагается, всякие собрания граждан, которые могли бы повредить его планам. Афинская и прибывшая фессалийская конница защищали как могли поля вокруг Афин, но гоплитов в дело Периклес все не пускал.

Спартанцы опустошили страну до Оропуса, а так как прокормить большую армию в ею же опустошенной стране было невозможно, то Архидам повелел отступление на Пелопоннес: афинский флот в сто триер – экипаж триеры равнялся двумстам человек – с тысячей гоплитов и четырьмястами лучников уже вышел из Пирея под ликование изнемогавших беженцев и занялся опустошением берегов Пелопоннеса. К нему присоединились пятьдесят триер Коркиры (Корфу). Но союзники нарвались на молодого, хитроумного и смелого Бразиду и должны были сесть на суда.

Так начались в солнечной Элладе «великие бедствия», которые разным суровым Мелезиппам и многодумным Периклесам казались обладающими совершенно исключительной важностью только потому, что им казалось, – величайшее заблуждение – что это они руководили этими «великими событиями». Когда расчеты их не оправдывались, они очень быстро находили себе и своим расчетам оправдание: «Ну, кто же мог предвидеть, что выскочит этот юркий Бразид, который опрокидывает все? Кто, главное, мог предвидеть эту чуму, которая вдруг вспыхнула в перенаселенных и жарких Афинах, где было негде даже сходить до ветра?» И они с прежним усердием, уповая на свои расчеты больше, чем на всех богов Олимпа, продолжали строить свои планы в твердой уверенности, что на этот раз ими все уже предусмотрено и они будут несомненными победителями, как в том так же твердокаменно были убеждены и их противники, разрушавшие их спасительные планы и выдвигающие планы свои, тоже весьма спасительные, но также малопрочные. Наполеон не предусмотрел русской зимы – хотя она в ноябре приходит аккуратно каждый год – точно так же, как Периклес не предвидел чумы, хотя и знал, что она уже страшно бродит по африканскому побережью и по всему Востоку, и забыл, что нельзя бесконечно содержать людей, как скот, в жарком загоне безнаказанно.

И вот вожди сочиняли все новые и новые планы благодетельствования Аттики или Пелопоннеса, а жители Аттики и Пелопоннеса в случае удачи их восторженно приветствовали, а в случае неудачи обвиняли в измене, подвергали остракизму, то есть изгнанию, а то, еще проще, и предлагали им совсем покинуть эту землю, которой они своей суетой так надоедали, и отправиться в мрачный Гадес. Эти будто бы «великие бедствия» – постоянный удел человечества. Кричать о них не стоило: Афины были еще полны развалин, оставленных персами, и вот уже Аттику разрушали спартанцы. Взаимоистребление рода человеческого – одно из самых постоянных явлений его жалкой истории. Может быть, потому и в эти страшные годы, как и всегда, пели серебристо милые зяблики на старых платанах, так же преследовали озорники-мальчишки одичавшую голодную кошку, так же философствовал и просвещал будто бы людей Сократ, так же любили и мечтали девушки, так же весело лепетали детишки на коленях пришедшего навестить их отца в красном хитоне, так же люди надеялись, строились, покупали, умирали, выздоравливали, пахали землю. Как ни ужасны кажутся человеку бедствия войны, как маленькой, пелопоннесской, так и тех, которые заливали потом кровью целые континенты, все же они не затрагивают материка жизни, а идут где-то по самым окраинам его. Пусть философы бьют в перси, стыдят человечество, призывают его к миру всего мира – их будут всегда

люди слушать так же мало, как мало слушали афинянки тех философов, которые стыдили их за то, что они отказывались родить, за то, что, родив, они отдавали ребенка кормилице.

Люди ахали и стонали, но флоты всех этих государств-лилипутов все бороздили моря, чтобы поджечь что-нибудь, потопить, окровавить, гоплиты, потея, изнемогали под тяжестью своих доспехов и проклинали свою долю – таинственное дело жизни в крови и бессмыслице продолжалось дальше неизвестно зачем. Афины уже овладели Эгиной с ее прелестными, покрытыми ароматными сосновыми лесами горами, принудили население покинуть ее и населили ее выходцами из Афин: это у них называлось клерукией. А летом, когда Пелопоннес был занят уборкой хлеба и виноградников, сам Периклес повел афинских гоппитов на Мегару, с помощью флота произвел там великие опустошения и с шумным ликованием вернулся в Афины. Один из учеников Сократа, самый старший, Эвклид, мегарец, в эти дни пробирался к любимому учителю, переодевшись в женское платье, с опасностью жизни – только бы послушать эту курносую, с выпученными глазами сирену. На северо-востоке продолжалась осада Потидеи, но коварный Пердикка работал уже на стороне Афин. Благодаря этому обстоятельству блестящий моряк, друг Периклеса, Формион, мог располагать большими силами. Ему помогал и Ситалк, один из царьков Фракии. И хотя каждый день войны стоил Афинам целый талант в сутки, то есть шесть тысяч франков золотом, Афины с этой стороны были совершенно спокойны...

Так кончился первый год войны. Хотя он не дал особых героев и вообще завершился без большого блеска, Афины учредили шумное торжество в память о своих погибших в боях гражданах – их было немного – и отблагодарили их... пышными речами. А до этого еще на полях стычек им воздвигали «трофеи». Обыкновенно это был пень, – никакого коварного умысла в этом видеть не надо, а скорее следует видеть тут некую невинность, – на который надевали полное вооружение и клали около него что-нибудь из добычи. А в память о павших, но неотысканных воинах – нечто вроде *soldat inconnu* – налаживали кенотаф, то есть ставили пустую гробницу с соответствующей надписью. И опять, конечно, говорили прекрасные речи, прекрасно разводили руками и так, и эдак, и напускали на лица соответствующее выражение и никто, никто не смеялся!.. И, глядя на все эти представления, которые никогда не кончатся, можно легко понять тихого Софокла, который, не удержавшись, раз воскликнул: «Не родиться – вот величайшее счастье!..»

VIII. У ног Дрозис

Война не остановила работ на Акрополе. Среди дымов горящих по горизонту деревень и хуторков потные, воняющие луком рабочие в пылающем блеске летних дней возводили и украшали прекраснейшие в мире здания для богов¹⁸. Скульпторы воздвигали этим богам изумительнейшие статуи, и афиняне в душевной тревоге приносили прячущимся за богами жрецам добрые жертвы, но дела их от этого, может быть, и не ухудшались, но и не улучшались наверное. Ни в чем не повинные животные гибли на алтарях, отравляя вонью своего горящего мяса весь город, а дымом оскверняя изумительное в своей ласковой радости небо Аттики. Белоснежные колонны пентеликонского мрамора и многоцветные украшения храмов – о нарядной пестроте их теперь судить нельзя: время съело все краски, – тоже портил этот зловонный дым, но грек, мучая и уничтожая животных, был уверен, что он делает приятное богам, в существовании которых он не был уж так уверен: он все-таки слышал в театре стих Еврипида: «если боги делают зло, то это не боги...»

Фидиас закончил свою Афродиту и – мучился ею настолько, что весь исхудал: точно он сгорал на каком-то незримом алтаре Пенорожденной. Дрозис богиней не была, она была только очень грешной дочерью земли и от сознания этого душа его истекала кровью. Он не раз уже думал о смерти. Но в смерти не было бы ее, а без нее не только нельзя было быть живым на земле, но нельзя было и бродить тоскующей тенью по лугам асфоделей, за гробом. Кто знает, будет ли там забвение или будет ли вообще что-нибудь? И теперь при встречах с нею любимой позой его было сидеть у ее ног, положив измученную голову на ее колени, и – молчать...

Но тут случилось что-то странное и с дерзкой, жадной до всех радостей жизни, над всем смеющейся Дрозис: его мучительная страсть к Дрозис, которой нет, которую он сам себе выдумал, заражала ее каким-то странным беспокойством, точно приподымая для нее впервые краешек той завесы жизни, за какой в храмах стояла обыкновенно статуя бога. Она в самом деле стала чувствовать в жизни присутствие какого-то неведомого бога, того, который мучил Фидиаса и, мучая, приобщал его все же к какому-то блаженству любви, неведомому Дрозис. И она, глядя задумчиво его сухую, красивую, страстную голову, остановившимся взглядом смотрела перед собой и точно вслушивалась в окружавшую их тишину звездной ночи. Она начинала отдаленно понимать его, понимать, чего он хочет и невольно заражалась его безумными настроениями, над которыми она раньше смеялась.

– Ну, слушай... – говорила она своим низким, волнующим голосом. – Ну, хорошо... Я вижу, что ты, действительно, меня любишь. Но... тогда нам надо куда-нибудь уехать. Я не хочу оставаться тут, где нам... и другим... все напоминало бы о... прежних днях... Тогда уедем ко мне в Милос...

– Я не могу уехать... – отвечал он сквозь крепко стиснутые зубы. – Я прикован к Акрополю не только тем, что я задумал совершить на нем, но и тем золотом богини, которое я отдал тебе и которое я, понятно, должен возратить ей. Иначе смерть за святотатство, хотя я теперь никакого святотатства тут не вижу: ты моя богиня. Я не укоряю тебя ни в чем и не раскаиваюсь ни в чем. Я говорю, что пока что твой план невыполним: Милос близко, и они достанут нас там. И скажи... но заклинаю тебя всеми богами, Дрозис, говори правду: разве ты в самом деле настолько полюбила меня, что можешь уйти со мной в неизвестность, одна, навсегда? Или

¹⁸ Современные вырождающиеся артисты, музыканты, художники, скульпторы, создавая всякие нелепости, уверяют нас, что «искусство стоять не может», что оно должно идти, «как и все», вперед. Я долго разделял это ловко подsunутое суеверие, оправдывающее потуги бессильных рекламистов, пока не вспомнил Акрополь, разбитый взрывом, разваленный. В области архитектуры и скульптуры V века остался непревзойденным и до сих пор служит источником светлейшей радости. Можно «стоять» и давать красоту, но можно «идти вперед» и создавать – нелепости.

это каприз только, за которым последует новый взрыв безумств, и ты снова вернешься в эту проклятую жизнь?..

Ей казалось, ей хотелось верить, что она сумеет быть с ним одним, вдали от всего, но в то же время ей было сладко видеть, как он корчится в муке от ее жестких и злых слов и от ее насмешки над его сумасшедшей страстью.

– Но кто же может за себя вперед поручиться? – как бы равнодушно сказала она, чуть пожимая прекрасными обнаженными плечами и украдкой следя за ним своими прекрасными глазами. – Разве ты, знаменитый художник, мог предвидеть, что из-за какой-то там бешеной девчонки ты посягнешь на золото Афины? Ведь ради удовлетворения моих прихотей – я ведь с голоду не умирала – ты отдал мне, в сущности, жизнь, а свободу-то наверное. Вероятно, Периклес закроет тебя своим величием и не даст сапожникам и мясникам агоры растерзать тебя. Никто вперед ничего не знает, мой милый, и потому не будем гадать о том, что будет. Может быть, я окажусь в самом деле для тебя новой Пандорой и обрушу на тебя тысячи бедствий...

И она следила, как сереет его исхудавшее и в страсти теперь такое прекрасное лицо, и душу ее волновала победная радость. Но она удерживала порыв к нему, она хотела убежаться в его любви еще и еще, хотела, как его Афина Промахос там, наверху, упиться дымом страданий этой для нее одной сгорающей души: она была так же ненасытна в любви, как и он.

– Да, положение почти что безвыходное... – говорила она, глядя в сумрак остановившимися глазами. – И может быть, было бы лучше, если бы я уехала от тебя совсем. Ведь мне нужно жить, нужны деньги, и я должна веселиться со всеми этими... тебе неприятными людьми или затягивать у тебя узел на шее еще и еще. И хотя бы ты был доволен, что я теперь редко вижу всех этих бездельников, но и тут ничего не выходит: достаточно блистательному Алкивиаду небрежно протащить по пыли под моими окнами свой плащ, и ты...

– Оставь!.. Перестань!.. – корчился он, стискивая зубы. – Дай забыться около тебя хотя бы на несколько мгновений... И подумать, что жизнь могла быть так хороша с тобой!.. Кто и за что исковеркал все так?.. И почему ты... такая, что не понимаешь всего этого?!

Она уже понимала, но она не хотела дать ему заглянуть в свою душу, в новую душу, которая иногда заставляла ее теперь подниматься в ночи со своего пышного ложа и, обняв колена прекрасными руками, согнувшись, долго-долго сидеть в звездной темноте, думая новые, непонятные думы. А потом ее точно с якоря срывало и она очертя голову снова бросалась в пьяный шум пира – среди этих ужасных таборов бесприютных беженцев, где под звездами плакали дети. И любо ей было видеть, как самые блестящие люди Афин искали одного ее взгляда и были готовы для нее на всякие безумства. И когда раз, на днях, на пиру она дала щелчок в толстый нос Сократа, – он был страшно смешон в своем воинственном наряде, пузастый!.. – было заметно, что и этот так называемый мудрец был явно польщен этим знаком внимания со стороны прекрасной гетеры.

Она лениво бродила тонкими пальцами в спутанных ею волосах Фидиаса, слушала, наслаждаясь, тайную муку его и чувствовала, как в ней что-то согревалось, растоплялось, и перед нею открывались точно двери храма: ведь все же никто так не любил ее, как этот безумец, который к ногам ее, гетеры, бросил и свою славу, и честь, и жизнь. Что из того, что он вдвое старше ее: он все же – Фидиас!

– И весь ужас в том, что ты совсем не такая, какую ты представляешься, – как в бреду, тихо говорил он ей в колени, не подымая головы. – Ты, как актер на сцене, который, чтобы из счастливого положения перейти в несчастное, меняет маску. Ты просто играешь роль, которая, как тебе кажется, тебе очень идет. Тебе нравится представлять себя пожирательницей сердец и состояний, женщиной, для которой нет ничего святого, нравится пугать наших добрых афиан, которым тоже хочется представлять себя очень благочестивыми... А за этой маской у тебя

спрятано то, что поет в моей статуе. Да, да, это я чувствую, несомненно, и в этом мука моя. И я хочу сорвать с тебя эту маску, под которой и тебе самой иногда душно...

Она затаилась: он коснулся самого больного, самого тайного места. В ней была еще жива та девочка, которая резвилась на прибрежном песке в Милосе и которою восхищались все... Взяв его голову обеими руками, она повернула его лицо вверх, долго смотрела в глубину души его своими изумительными, слегка влажными глазами, в которых ходили темные отсветы страсти, и прижалась к его искривленным страданием устам...

– Иди ко мне... – низко, глухо проговорила она.

После пьяной ночи Фидиас темными от беженцев улицами возвращался к себе. Пока она ласкала его, счастье казалось тут, за дверью, но вот он опять один и опять он стоит над проклятой чертой, которая отделяет его от нее.

И вдруг на перекрестке раздался взрыв смеха: то шел Алкивиад в блистательном наряде конника в сопровождении нескольких из своих друзей, веселый и беспечный. Он подошел вдруг к какому-то старику и, не говоря ни слова, ударил его по лицу. И Фидиас, и вся улица ахнули: то был Гиппоникос, один из членов ареопага, сын того Гиппоникоса, на дочери которого был первым браком женат Периклес. Остолбенел и старик.

– Но что я сделал тебе, Алкивиад? – дрожащим голосом проговорил он.

– Ничего... – отвечал повеса. – Просто я поспорил с приятелями, что я первому встречному на улице дам по лицу – к сожалению, подвернулся ты. Я иду за тобой в дом твой и отдаю себя в твое полное распоряжение...

И он, действительно, скрылся в доме Гиппоникоса и – на пороге остолбенел: предупрежденная рабынями, видевшими происшествие на улице, навстречу отцу, взволнованная, торопилась его молоденькая дочь, Гиппарета, беленькая, нежная, похожая на Психею, с золотистой головкой, с ямочками на розовых щечках, которые у самого мрачного человека разгоняли его хмуристь. Увидев Алкивиада, она тихонько ахнула и спаслась бегством в гинекей.

Толпа, собравшаяся на улице, качала головами: нет, эта молодежь потеряла всякую меру! Друзья Алкивиада смущенно смеялись и зевали: они всю ночь прошумели с ним у веселых флейтисток.

Гиппоникос был тронут готовностью молодого, блистательного повесы принять от него всякое наказание, и вместо того чтобы отдать его в распоряжение рабов, чтобы они высекли его, он с улыбкой проговорил.

– Мы должны выпить чашу мира... Дочь, Гиппарета, которую ты так испугал, – потеряв мать, она прекрасно ведет мой дом – распорядится сейчас обо всем. А ты, воин, присядь. Но в следующий раз, когда тебе в голову придет такая выходка, сделай исключение для стариков. Клянусь Ареем, ты все же дерзок!.. Ты мог попасть и на человека менее... спокойного... А меня, сознаюсь, сковало слово Сократа. Как-то недавно при мне кто-то из его спутников пожаловался ему, что его знакомый при встрече с ним не ответил на его приветствие. И Сократ сказал: «Если бы ты на своем пути встретил какого-нибудь калеку, ты, вероятно, не обиделся бы – так почему же ты обижаешься, что встретил человека с искалеченной душой?»

Но не только слово Сократа остановило ареопагита: он думал использовать эту историю для сближения с малодоступным Периклесом.

– Но несмотря на всю глупость моей выходки, я не хотел бы, чтобы ты считал меня человеком с дурною душой... – сказал Алкивиад, замороженный встречей с беленькой Психеей. – Я постараюсь дать тебе скоро доказательство, что я совсем не так уж плох, как это иногда кажется даже мне самому...

Но рабыни уже вносили для гостя вино и все, что полагалось. А маленькая Психея, потрясенная, пряталась в гинекее. Она не раз уже тайно любовалась блистательным Алкивиадом, и в этой нечаянной и странной встрече она видела какое-то счастливое предзнаменование и рдела вся, как уголек на жертвеннике. Гиппарета была девушкой своего времени, для которой тайны

Эроса открывались – всю жизнь – очень рано, но жило в ней, маленькой Психее, какое-то врожденное чувство стыдливости и чистоты, которое оберегало ее от афинских нравов. В храмах Диониса, Пана, Афродиты Колиаде и др. праздники сопровождались всегда оргиями, в которых с большой охотой принимали участие и женщины. Особенно славился в этом отношении храм Афродиты вблизи Афин, в предместье Анафлии. И от них, этих женщин, их родственницы-девушки знали все, но Гиппарета, краснея, стояла как-то над всем этим и теперь, смятенная нечаянной встречей с красавцем, о котором она не раз думала, была вся смятение и стыд...

И – зов.

В гинекей, где томила Гиппарета, вдруг вбежала, вся бледная, рабыня. В глазах ее стоял ужас. Она запыхалась.

– Госпожа... – едва выговорила она. – Госпожа, в Афинах – чума!..

– Перестань говорить глупости!.. – нахмурилась Гиппарета. – Откуда ты это взяла?..

– Мой брат пришел сейчас из Пирея... – задыхалась та. – И говорит, приплыл корабль из Египта, а на нем будто бы в пути заболело двое... Начальство сейчас же приказало отвести корабль подальше от берега, но будто и в Пирее такие больные уже есть. Боги, боги, и что мы теперь только делать будем?! А еще говорят, – передохнула она, – будто Периклес войну со Спартой затеял нарочно: Аспазия будто хочет, чтобы он захватил у нас в Афинах царскую власть. Будто ей очень завидно, что гетера Таргелия вышла замуж за царя, а она...

– Сколько раз говорила я тебе не носить в дом с улицы всякого вздора... – нахмурилась Гиппарета. – Перестань! Не болтай зря о чуме, не тревожь других. Никакой чумы нет. Отец знал бы раньше тебя, если бы что действительно было. Садись пряхь...

IX. Под надвигающейся грозой

Вся Эллада была налита тяжелой тревогой. В Пирее споро стучали топоры судостроителей, рубивших новые боевые триеры, с севера гнали табуны лошадей для кавалерии, эфебы, выпячивая грудь, блистали воинской отвагой у веселых флейтисток. Не отставал Коринф, где в Кенкрее тоже строились боевые суда. Не отставала Спарта, где военачальники всячески тянули гопплитов для грядущих подвигов. Все власть предержащие чутко прислушивались к тому, что происходит среди всегда волновавшихся илотов: в острую минуту они всегда могли восстать. Стража не допускала никаких скоплений их, а переодетые шпики проникали в самое сокровенное их жизни...

Алкивиад очень чувствовал это всеобщее напряжение и знал наверное, что в смуте он отличится так или эдак. Он был слишком избалован судьбой, чтобы сомневаться в удаче, и все события рассматривал только с точки зрения, пора начинать и ему или не пора. Он думал, что мир – это сцена, на которой он, маленький пока капрал, будет изумлять всех, а изумленные будут венчать его миртовыми и лавровыми венками. Он иногда слушал вместе с другими Сократа и ловко схватывал на лету все те премудрости, которые он там слышал, чтобы при случае блеснуть острым или смешным словечком. И в то время как другие дивились ловкости и учености всех этих философов и софистов – установить разницу между ними становилось все труднее, – Алкивиад слишком хорошо знал по себе самому, что всякий человек – это софист в самом дурном смысле этого слова: он может из слов построить какую угодно «истину» и, если это ему будет выгодно, будет отстаивать ее с пеной у рта. Среди этих учителей мудрости были и серьезные люди, которые в этих словесных стычках разрушали старые, удушливые, гнилые уже верования и предрассудки, но для Алкивиада все эти верования точно не существовали: он и от них брал только то, что ему было нужно, а что касается до разрушения изжитой идеологии, то он давным-давно уже не верил ни во что – кроме Алкивиада. После персидских войн скептицизм и пресловутый «упадок нравов» все ширились и углублялись, и в этом отношении Алкивиад смело, с веселым смехом шел впереди своего времени...

Но с первой же встречи с робкой Гиппаретой все, кроме этой светленькой девочки, отошло у него на самый задний план. Он был избалован женщинами и на всех них смотрел как на «благосклонных» к нему. Он знал, что Гиппарету отделяет от него твердыня гинекея – в гинекей никто не имел доступа – но опять-таки он был слишком афинянин V века, чтобы не знать, что нет крепостей, которых нельзя было бы взять, если не силой, так золотом... Он пробовал и подкупать рабынь Гиппареты через своих рабов, и с сокрушенным видом ходил, вздыхая, мимо ее дома, и строил самые смелые планы, как бы забраться к ней через непрочные стены афинских домов, но он очень скоро убедился, что Гиппарета и тянется к нему, то главное препятствие для него не в стенах гинекея, а в ней самой: благосклонные – это одно, а эта тоненькая девочка с застенчивыми глазами – совсем другое. Это еще больше распалило его, и он, к своему удивлению, пришел к заключению, что в данном случае ему не остается ничего, кроме брака. И если девушек-спартанок можно было встретить везде с открытым лицом, – Спарта думала, что замужняя женщина должна только хранить уже доставшегося ей мужа, а девушке его надо еще искать, – если они наравне с мужской молодежью, грубоватые и смелые, прыгали, скакали, бросали дротик или диск, то афинская девушка с пожарными не соперничала и в тишине гинекея берегла лучшее свое богатство, женственность. И тут первую обязанностью женщины было послушание. Пенелопа спускается из своей комнаты, чтобы просить Фемия прекратить надоевшую ей песню, но лишь только она, покрытая покрывалом, показывается на пороге, как сын ее, Телемак, говорит ей: «Иди назад в свои комнаты, занимайся своим делом, полотнами и веретенами – говорить же в доме предоставь мужчинам». Отец был не только главой, но неограниченным владыкой семьи, он имел даже власть над жизнью или смертью своих

детей. До Солона он имел даже право продавать дочерей в рабство и не только в случае, если они повели себя нехорошо, но и просто потому, что ему нужны были деньги. Потом владыкой – кириос – женщины становился брат или муж, который перед смертью мог даже выбрать ей другого мужа. Совершеннолетие наступало для детей в 18 лет, но сын, не исполнивший своего долга перед отцом, и потом предавался суду и мог быть даже приговорен к смерти и, во всяком случае, лишался гражданских прав. И как ни бесцеремонен был Алкивиад, все же эту обмешевшую твердыню старых заветов – пусть уже расшатанных – он одолеть не мог и со смехом решил: значит, надо связать себя узами Гименея, делать нечего. Беленькая Психея не давала ему покоя ни днем, ни ночью...

Гиппоникос был очень польщен этим блестящим сватовством, а Периклес только пожал плечами и возвел глаза к небу, к бессмертным богам: он знал уже хорошо, что если Алкивиад вбил себе что в голову, то лучше уступить сразу. Но девочку – ей только что минуло пятнадцать – ему было искренне жаль: он знал, что Алкивиад – Алкивиад. А с другой стороны, ему давно было пора жениться: безбрачие наказывалось не только в суровой Спарте, где гражданин был только безвольным кирпичиком в здании государства, но и в будто бы свободолюбивых Афинах. В Спарте наказывали даже тех, кто женился слишком поздно или неудачно: смотри в оба. Не мешали даже нищим жениться: отец, не имеющий средств, чтобы прокормить ребенка, передавал его городским властям, а те отдавали его кому-нибудь, кто мог потом из своего воспитанника сделать раба. Детей же необходимо было иметь всем, чтобы обеспечить себе после смерти погребальные почести, а у кого их не было, те искали усыновить кого-нибудь – для этих же загробных целей. И потому дом Периклеса – Алкивиад, сирота, вырос и жил у него в доме – под руководством Аспазии взялся за брачные приготовления.

Наконец, пришел и заветный день. Алкивиад еще накануне бражничал и бесчинствовал в городе со своими приятелями, но на этот день должен был набраться серьезности хотя бы на короткое время свадебной церемонии, которая сводилась к приобщению невесты к богам ее нового дома. Как были свои боги у каждого города, так были они и у каждой семьи: это были ее покойнички, которых в Афинах звали добрыми, блаженными, святыми. Они приносили дому счастье или несчастье в зависимости от того, пользовались ли они со стороны живых почтением или находились в пренебрежении.

И вот уже готовую к отъезду маленькую, смущенную Гиппарету старый Гиппоникос после жертвоприношения перед домашними богами как бы отрешил от своего очага и освободил от всяких обязанностей к близким, живым и мертвым. В сопровождении молодых «герольдов» Гиппарета с закрытым лицом, путаясь ногами в торжественной брачной одежде и еще больше от смущения, вышла в последний раз из своего родного гнезда и, глотая невольные слезы, села в поджидавшую ее колесницу, во всем белом, с венком на голове, как это полагалось для всех религиозных церемоний. Перед колесницей несли брачный факел. Хор провожавших все время пел свадебный гимн Гименею. Переполненный раздраженными беженцами город провожал новобрачную любопытными, а иногда и злыми взглядами: нашли время веселиться!.. И злые думы о богачах дымно бродили в усталых от передрыг и беспокойства сердцах: война внешняя никогда не покрывала собою той внутренней войны, которая глухо шла в Элладе всегда между богатыми и бедными, всегда готовыми съесть богачей с косточками, которая иногда кончалась победой бедняков, с большим удовольствием становившихся богачами и – сказка про белого бычка начиналась сызнова.

Окованные колеса рокотали по каменной мостовой, и веселый поезд остановился у богатого дома Периклеса. Алкивиад в драгоценной тунике, с венком на голове, прекрасный, как бог, на крыльце встретил свою избранницу и хотел было, как полагалось, взять ее на руки, чтобы внести ее под свой кров, но сопровождавшие Гиппарету женщины с криками набросились на него – так требовал обычай – и сопротивлялись ровно настолько, чтобы сопротивление их было Алкивиадом сломано без особых усилий. Все чувствовали, что все это было уже

смешно, ни на что не нужно и делали только видимость старинного обряда. Алкивиад взял Гиппарету на руки – она была легка, как перышко – и понес ее в дом так, чтобы ноги ее никак не коснулись порога. И Периклес, выступавший теперь как глава дома в качестве жреца перед домашними богами, рассеян и неуверенно – он боялся все перепутать – окропил Гиппарету святой водой, она дрожащей ручкой прикоснулась к домашнему очагу под чтение молитв, а затем Алкивиад и Гиппарета сели, чтобы разделить брачную трапезу: хлеб, пирог и несколько фруктов. Это приводило супругов в религиозное общение между собой и с домашними богами. И все закончилось возлиянием и молитвой, которую Периклес так перепутал, что Алкивиад едва не подавился от смеха. И все облегченно вздохнули: наконец-то!.. И какая все это кани-тель!..

Зашумел прилично и сдержанно свадебный пир. Гостей, ввиду тяжелого времени и тревог, было немного. Дорион видел шутовство умершего уже обряда, видел отношение к нему всех присутствовавших и в то время, как всегда, добродушный Сократ начинал уже, хлебнув хиосского, ораторствовать, Дорион – ему было жаль маленькой Гиппареты: он знал, что ждет ее через три дня – думал свои думы, которых нельзя было выговорить вслух. Он думал, что боги умерли, хотя бы по тому одному, что они позволили принести в жертву этому необузданному человеку бедную, кроткую девочку, что они, бессмертные, ни за что сломали молодую жизнь...

А когда убрали столы, пропели вновь пэан и, надев венки, взялись за вино – ночные горшки потихоньку наполнялись – Сократ заговорил о добре и зле:

– Разве здоровье не является злом, а болезнь благом, когда город предпринимает несправедливый и неудачный поход, и в нем принимают участие все здоровые граждане его? Они разделяют безнравственность предприятия и теряют жизнь и свободу, в то время как другие, оставшись по старости или нездоровью дома, сохраняют и ту и другую. А мудрость – разве она не возбуждает иной раз зависти в других и неприязни, которые весьма плачевно отзываются на человеке мудром?..

«Твоя цель – исследование и очищение понятий, – думал Дорион, – но вместо старой путаницы ты создаешь все же только путаницу новую. Вывод не в том, что ты найдешь вот сейчас какую-то “истину”, а в том, наоборот, что все выходы для человека заперты...» Аспазия с удовольствием любовалась теплыми отсветами светильников на своих прекрасных руках, ласкающей линии груди, тенью свой головы на стене и исподтишка следила за Фидиасом, который похудел еще больше и глаза которого даже теперь – он никак не мог справиться с собой – горели сумрачным огнем. Он чувствовал какой-то перелом в Дрозис в свою сторону, но ему все казалось, что выхода для них обоих все же никакого, кроме страшного, нет, что они оба во власти мойры.

– Нет, это что, Сократ!.. – крикнул веселый и всегда изящно одетый Аристипп, один из учеников его, который под влиянием хиосского был особенно в ударе. – Нет, если бы ты послушал спор между Кораксом, которого ты немножко знаешь, и его учеником Тизием – на суде все просто со смеху валились!

– Ну, ну, что такое? Расскажи!.. – полетели со всех сторон голоса: все знали, что Аристипп всегда расскажет что-нибудь остренькое.

– Коракс взялся учить ораторскому искусству Тизия с условием, что тот заплатит ему деньги после первого же выигранного дела... – с улыбкой начал Аристипп. – Но, изучив дело, Тизий сам стал учить других, а учителю своему не платил ничего. Тогда Коракс привлек его в суд. И Тизий сказал: если ты выучил меня искусству убеждать, так вот я тебя и убеждаю с меня ничего не брать. Если ты не убеждаешься, это значит, что ты меня ничему не выучил и поэтому я тебе ничего не должен. А Коракс отвечает: если, научившись от меня искусству убеждать, ты можешь убедить меня ничего с тебя не брать, то ты должен заплатить мне условленную плату за учение, потому что, значит, я тебя делу научил хорошо, а если ты не можешь убедить меня,

то ты все-таки должен мне заплатить все, так как я не убежден тобою не брать с тебя ничего... И в конце концов судьи рассердились: вы пожираете один другого, как воронье!

Все засмеялись, а потом закипел горячий спор: кто же прав? Но Периклеса вызвали: Аспазия поняла, что дело касается чумных заболеваний в городе. Но пир весело продолжался и без Периклеса...

А через три дня Гиппарета уже ходила с заплаканными глазами, и старый Зопир, дядька, вырастивший Алкивиада, хмуро вздыхал и говорил своему воспитаннику дерзости.

Х. Фиал бедствий

С весны Архидам повел своих гоплитов на Афины, но там вдруг вспыхнула такая чума, что спартанцы перепугались и, разграбив все, что было доступно, торопливо ушли опять в свой Пелопоннес. Недавно веселый, полный оживления, фиалками венчаный город превратился не в преддверие Гадеса, а в самый Гадес.

Начиналась болезнь жаром в голове. Потом появлялся жестокий кашель, страшный шум в ушах и дрожание во всем теле. Больного охватывало беспокойство и страх. Нестерпимая жажда терзала его, и люди теснились около общественных колодцев и фонтанов и иногда, точно в припадке безумия, бросались в них. Из горла тек гной. Кожа приобретала мраморный вид. И наконец, на восьмой день наступала в муках смерть. Были изредка и выздоравливающие, но участь их была ужасна. У одних отмирали те или иные члены, другие теряли зрение, третьи – память, а иногда и сходили с ума.

Скоро заметили, что кузнецы, работавшие все время среди огня, не заражаются, стали раскладывать всюду огни, но болезнь делала свое страшное дело. Вымирали часто целые семьи. Опустевшие дома грабились чернью, которая очень подняла голову. Покойников, если погребали, то уже без всяких церемоний: не клали в рот обола для Харона, не давали в руки пирога для Цербера. Трупы валялись и смердели повсюду: в домах, на улицах, в опустевших храмах, вокруг алтаря Богам Неведомым, около воды и в воде. Мертвых часто по ночам сбрасывали на улицу с крыши. В кучах мертвых, сташенных к одному месту, часто копошились умирающие, и их стоны и вопли холодили души. Еще живых бросали среди мертвецов в костры по берегам Иллисса. Собаки и дикие животные, нажравшись трупов, подышали. Рабы вольничали, дерзили и разбегались, грабя и насилая. Те, которых чума почему-то не трогала, брались за уборку трупов, требовали, что хотели, а попутно грабили дома...

А богачи, которые за это время не успели уехать, предавались бешеным утехам: все равно не сегодня, так завтра конец. Иступленное суеверие, как сумасшествие, охватило даже разумных людей. То и дело шли от храмов религиозные процессии, – то в честь Афины, охранительницы города, то в честь Матери Богов, Кибелы, то в честь какого-то нового бога Саббациос, которого завезли моряки из Палестины от иудеев. Но страшная болезнь продолжала косить людей тысячами, и Сократ, спокойно помогавший заболевшим друзьям, уже видел раз страшный сон: опустевший город с валяющимися повсюду скелетами, а над ним опустевший, охолодавший Акрополь, который Периклес звал золотым цветком Эллады...

Периклес, мстя спартанцам за разорение края, во главе флота в сто пятьдесят триер с четырьмя тысячами гоплитов поплыл на Эпидавр. Это был любимый курорт греков, лежавший на восточном берегу Пелопоннеса. Защищенный холмами с севера, лежавший почти на самом берегу моря, среди хвойных лесов, обладавший чудесными источниками воды, он привлекал к себе больных отовсюду. Для их развлечения был устроен гипподром и прекрасный театр. Лечили там больных больше жрецы Асклепия. Были и чудеса: разбитая ваза восстанавливалась без помощи человека, Асклепий приставлял на свое место голову, отрубленную в ночи демонами, и пр. Периклес думал стать там твердой ногой и поднять против Спарты ее старого врага, Аргос. Периклес очень рассчитывал на измену своих сторонников в стенах укрепленного города, но ошибся, и, опустошив берега, афиняне поплыли обратно: и на эскадре вспыхнула чума. Передохнув в потрясенном страшной чумой Пирее, – он после разрушения его персами был отстроен Периклесом лучше прежнего – триеры пошли на север, к Потидее, но все атаки на нее оказались бесплодны. Чума же на тоже уже зараженных судах усиливалась с каждым днем: из четырех тысяч гоплитов погибло уже больше тысячи, и через месяц флот вернулся в Пирей, а осада Потидеи продолжалась.

В Афинах был настоящий ад. На улицах, у врат храмов, на агоре, по садам валялись, хрипели и умирали чумные. После великого праздника Панафиней, когда весь народ поднялся на Акрополь, чтобы молить богов о прекращении бедствия, болезнь стала косить свои жертвы еще свирепее. Люди обезумели. Боги были глухи к их воплям. Поднялся и с каждым днем все усиливался ропот против Периклеса: это он затеял войну, это он во всем виноват, и в разорении их, и в гибели. И боги явно гnevаются на него: не потерпел ли он неудачи под Эпидавром и под Потидеей? Неделя проходила за неделей, месяц за месяцем – бедствие усиливалось и усиливался ропот измученных и перепуганных афинян. Военскую силу их страшная чума подорвала в корне, но она же служила им пока что и щитом: ни Спарта, ни другие их противники не решались двинуться в зараженную Аттику.

Вопреки Периклесу афиняне послали посольство в Спарту, чтобы заключить мир, но Спарта не пошла на мир: чума работала на нее. Чума сразила и двух старших сыновей Олимпийца. Правда, они не дали того, чего ждал от них отец, были посредственностью, а старший, Ксантипп, и совсем ничтожество, но удар все же был силен. Его противники и под чумой делали свое дело и наконец добились от народа, что он был предан суду за растрату народных средств. Его приговорили не к смерти, как можно было ожидать, а к уплате непосильного для него штрафа в пятьдесят талантов. Но гнев афинян скоро и прошел, и он даже выхлопотал право гражданства для своего младшего сына, от Аспазии, тоже Периклеса. Затем его снова избрали главнокомандующим: демос, как глупая девка, любит так покапризничать и поломаться над людьми. Но он был уже человек конченный. Он и раньше разговорчив не был, а теперь замолчал и совсем, поседел и все думал, не делясь своими думами даже с Аспазией, которая была так перепугана всеми этими бедствиями, а в особенности чумой, что даже перестала любоваться собой и – стала стареть...

Его друзья – все они были перепуганы чрезвычайно – оставили его в покое, но между собой сходились часто: вместе было не так страшно. Особенно часто собирались у богатого и доброго Фарсагора. Чума произвела страшные опустошения среди его рабов и одной из первых погибла его красавица Сира. Лежал и Феник больным, хотя у него, по-видимому, была не чума. А на нем только и держался дом. Он крал, конечно, как мог, но не забывал, когда было можно, и интересов хозяина. А теперь все шло кверху ногами, тем более что потрясенный бедствием Фарсагор больше всего был озабочен тем, чтобы облечь страшные картины гибели Афин, свою скорбь по Сире – он в самом деле был привязан к ней, насколько это не мешало его поэтическим упражнениям, – в звучные строфы, которые теперь все же никак не хотели слагаться, как раньше, свободно и нарядно...

В большом доме его было жутко. Никуда нельзя было уйти от стонов старой матери Феника, которая умирала в страшных мучениях от чумы. Фарсагор не делал, как другие, не выбрасывал своих больных вон. Болезни бояться было просто смешно. Она была во всех домах, во всех улицах: погибло уже больше четверти населения Афин.

Пользуясь прекрасной лунной ночью, гости предложили пройтись к Акрополю, подышать там, на высоте, чистым воздухом, отвлечься немножко от тяжких опасений гибели всех и всего, которая казалась иногда неминуемой. Тут были Сократ – он был утомлен и молчалив, – Дорион, Антисфен и молодой Главкон, недавно раненный под Эпидавром. Пошли страшно молчаливыми улицами, – даже собаки притихли, – в которых ужасно пахло трупами и сладким ароматом фиалок. В Пропилеях – они заканчивались – стоял тяжелый дух испражнений рабочих, строивших эту великолепную колоннаду. Подошли к краю скалы, на которой готовились ставить храм Nike Аптерос, Бескрылой Победы, и с которой открывался прелестный вид на город и окрестности. Фарсагор совсем ушел опять в грандиозные – по крайней мере, так ему казалось – картины чумы, которые он даст в своих стихах на изумление современников и потомства. Может быть, он будет даже читать их на празднике в Олимпии...

Но когда они, подышав, спустились опять в город и зашли к Фарсагору посидеть за чашей вина, – старая рабыня, кормилица Фарсагора, уже умерла – то не успели они осушить и первой чаши, как вдруг из дома Периклеса явился задыхающийся от бега и ужаса раб:

– Аспазия, наша госпожа, просит вас всех скорее прийти к ней: Периклес, господин наш, умирает...

На всех дохнуло леденящим холодом. Первою мыслью было не идти, но было стыдно один другого, и все смущенной кучкой направились на вдруг ослабевших ногах к дому Олимпийца: такая блистательная жизнь – и так кончается!..

Периклес, новый, страшный, был еще в памяти, но мраморные пятна по телу говорили, что чума свое дело уже делает. Когда-то красивое, а теперь жуткое – по нем то и дело проходили волны невыносимого страдания и страха – лицо его было серо и исхудало. Едва заметная гримаса – это была улыбка – искривила его.

– Да, умираю... – едва выговорил он. – Но я счастлив тем, что я всю жизнь стоял на страже отечества и не причинил Афинам печали...

Дорион во все глаза смотрел на него: среди страшно гибнущего города он, вождь народа, говорит, что он не причинил родине печали!.. Или, в самом деле, не они, вожди, виноваты в таких бедствиях? Но значит, тогда не они виноваты и в процветании – тогда они не вожди, тогда они не нужны... Аспазия, повесив красивую голову, стояла поодаль у окна: ей было и жаль Периклеса, и было страшно быть около него. Жить, жить, жить – хотя бы этой ужасной жизнью, когда гибнет все! Это было сильнее ее. Она, уже вырывающая потихоньку седые волосы из своей прекрасной золотой короны, охваченной золотыми обручами, еще надеялась на какое-то чудо: она не верила еще ни в смерть, ни в старость, ни в то, что все радости жизни кончились для нее... Вздохнув, она покосилась в глубь покоя, где тихо шептался с опаленным Фидиасом богатый скотовод Лизикл, давно в нее влюбленный. Сильный, рослый, похожий сам на фессалийского быка, он тоже временами взглядывал на нее, и в его маленьких животных глазках было, как всегда, обожание.

И вдруг в покой вошел Гиппократ, молодой, но уже знаменитый врач. Высокий, красивый, он держался с большим достоинством: на медицину и тогда уже со всех сторон шли весьма резвые наскоки, и Гиппократ этим достоинством думал немножко отгородиться от них.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.